

ЧУЖОЙ МИР. ЧУЖИЕ ПРАВИЛА. ОДНА ЦЕЛЬ.
ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ.



СКОРО БУДУ ДОМА

Том III: Депрессия

Тёмное фэнтези • попаданцы • LitRPG



ADAM WALKER

Скоро буду дома

Adam Walker

**Скоро буду дома.
Том III: Депрессия**

«Автор»

2026

Walker A.

Скоро буду дома. Том III: Депрессия / А. Walker — «Автор», 2026 — (Скоро буду дома)

Адам умер на Земле и очнулся в чужом мире, поклявшись вернуться к жене и сыну. Позади два тома борьбы: он выбился из безымянного попаданца в барона, поднял город, спустился в Колодец глубже всех живущих. Но чем ближе дно, тем тише голос дома — и тем громче зовёт снизу чёрная вода, что признала в нём родню. Третий том — самый тёмный. Орден, что правит миром из тени, наносит удар по всему, что Адаму дорого. Тьма, запертая в нём, из проклятия становится оружием — и соблазном. А на самом дне его ждёт тот, кто знает правду обо всём: зачем создан Колодец, что убивает этот мир и какой ценой Адам может наконец вернуться домой. Вопрос только в том, останется ли к тому времени дом, куда он хочет вернуться, — и останется ли собой тот, кто дойдёт.

Содержание

Содержание	6
Глава 1. Незнакомый потолок	7
Глава 2. Светлый Клинок	10
Глава 3. Дом маркиза	13
Глава 4. Новый план	16
Глава 5. Передышка	19
Глава 6. Сборы	22
Глава 7. Небо под землёй	25
Глава 8. Гроза	28
Глава 9. Перед троном	32
Глава 10. Аудиенция	35
Глава 11. За закрытыми дверями	38
Глава 12. Без свидетелей	41
Глава 13. Ты не спросил	44
Глава 14. Дорога	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Adam Walker

Скоро буду дома. Том III: Депрессия

СКОРО БУДУ ДОМА

Том III: Депрессия

ADAM WALKER

Содержание

(в Word: правый клик по списку → «Обновить поле» для номеров страниц)

Глава 1. Незнакомый потолок

Первым вернулся потолок.

Высокий, белёный, с тёмными балками поперёк — чужой потолок, какого я никогда не видел. Я смотрел на него долго, не понимая, ни где я, ни как сюда попал, ни даже толком — кто я. Сознание возвращалось медленно, кусками, как возвращается отлив: вода уходит, и из-под неё проступают камни, водоросли, дно. Сначала — потолок. Потом — что я лежу. Потом — что лежу на чём-то мягком, чистом, тёплом, и это так не вязалось с последним, что я помнил, что я даже не сразу поверил.

А последнее, что я помнил, было холодным.

Камни мостовой, поднявшиеся навстречу. Глухой тупик. Мальчик у стены, и его слабо вздымающаяся грудь. И тьма, что сомкнулась надо мной, как вода над утопающим.

Я не утонул.

Эта мысль пришла отдельно, сама по себе, и какое-то время я просто лежал и держал её, как держат в ладонях что-то хрупкое. Я не утонул. Я жив. Я лежу под чужим белёным потолком, в чистой постели, и где-то рядом потрескивает огонь в очаге, и пахнет не гарью, не кровью, не искровым раствором, а чем-то тихим — воском, сухими травами, нагретым деревом.

Я попробовал шевельнуться — и едва смог. Тело не слушалось. Не так, как слушается избитое или израненное, — а так, будто из него вынули всё до капли и забыли налить обратно. Руки лежали вдоль тела чужие, тяжёлые, пустые. Я попытался сжать кулак и сжал его едва наполовину, и это малое усилие отозвалось дрожью во всём теле и испариной на лбу.

Я был выжжен дотла. Я знал это чувство — встречал его на стене Грейфолла, после, когда сила во мне отгорела и осталась одна зола. Но тогда зола успела за несколько дней снова стать углями. А сейчас я лежал и понимал: на этот раз я опустошил себя глубже, чем когда-либо. До самого дна. И дно это ещё долго будет наполняться.

И тут не помогли бы никакие лекари, никакие чары. Магия в этом мире умела затягивать раны — но ран на мне не было. Меня подкосило не железо. Из меня вытекла досуха сама сила, надорванное нутро, — а этого не зашить и не залечить заклятьем. Такое лечит только время. Я знал это и заранее смирился: впереди были не дни, а недели медленного, унижительного возвращения в собственное тело.

И всё же — не пусто. Я прислушался к себе, осторожно, как прислушиваются к незнакомому дому ночью. Там, под рёбрами, в самой глубине, где раньше была глухая запертая дверь, теперь что-то было. Что-то новое. Оно не рвалось, не жгло — оно тихо, ровно гудело, как гудит большая вода за плотиной, далеко, на пределе слуха. То, что сорвалось во мне там, в лаборатории, когда я выпустил всё и ударил в запертый замок. Оно никуда не делось. Оно ждало.

Я не знал, что это. Я не знал, что мне с этим делать. У меня не было сейчас сил даже как следует испугаться.

Я повернул голову — это удалось, хоть и с трудом, — чтобы оглядеться.

И увидел Кассию.

* * *

Она спала.

Сидела на полу у самой кровати, на низком стуле или скамеечке, и спала, уронив голову и плечи на постель, рядом с моей рукой. Одна её ладонь лежала поверх одеяла, у моего локтя, — будто она держала меня за руку и заснула, не выпустив. Пепельные волосы рассыпались, закрыли лицо. Дышала она глубоко и ровно, как дышат в том тяжёлом сне, в который проваливаются не от покоя, а от полного, до самого донышка, изнеможения.

Я смотрел на неё и не сразу понял, что у меня перехватило горло.

Она была не та Кассия, которую я знал. Та была — колкая, ладная, всегда собранная, всегда на шаг впереди, с насмешкой наготове. Эта — осунулась. Под глазами легли тёмные тени, какие ложатся не за одну ночь. Платье было простое, мягкое, домашнее. И в том, как она спала — неудобно, скрючившись, на жёстком, лишь бы рядом, лишь бы не уходить, — было что-то такое, от чего я отвёл взгляд, будто подсмотрел не предназначенное мне.

Она сидела тут. Долго. Не день и не два.

Она за меня боялась.

Я не знал, сколько я пробыл там, по ту сторону тьмы. Но я знал теперь, чем были для неё эти дни. Я видел это по её теням под глазами, по скрюченной во сне спине, по руке, что так и осталась лежать у моего локтя, когда сон сморил её на полуслове заботы.

И что-то во мне дрогнуло. Тепло и больно разом.

Не делай этого, сказал я себе. Тихо, привычно, как говорил уже не раз. Не смотри так. У тебя есть Мира.

Мира.

Я закрыл глаза, и она встала передо мной — как всегда вставала, стоило позвать. Как засыпала, уткнувшись мне в плечо. Как смеялась. Как держала Лео на руках в то последнее утро, которого я тогда не знал, что оно последнее. Лео, что боится темноты и засыпает только с лампой. Я не знал, спит ли он сейчас. Я не знал даже, есть ли там сейчас «сейчас», идёт ли там время, как здесь, или стоит, или несётся вскачь. Я не знал ничего — кроме того, что они там, за тысячей миров, за всей этой бездной тьмы, и что я обещал вернуться.

Я помнил. Я всё помнил. Я любил их так же, как в первый день, и тосковал так, что в груди начинало ныть, стоило только позволить.

И всё-таки рядом, у моего локтя, лежала чужая тёплая рука. И я не убрал свою.

Сил не было. Так я себе сказал. Сил не было даже на это.

* * *

Кассия проснулась резко, как просыпаются те, кто спит вполглаза, готовый вскочить. Вскинула голову, откинула волосы с лица — и встретила со мной взглядом.

Несколько мгновений она просто смотрела на меня, ещё не до конца проснувшись, не веря. А потом её лицо сделало странную вещь: оно дрогнуло, поплыло, как будто она вот-вот заплачет, — и тут же собралось обратно, спряталось за привычную колкую усмешку, торопливо, неловко, словно она застёгивала что-то, что я успел увидеть распахнутым.

— Ну наконец-то, — сказала она хрипло со сна. Голос у неё дрогнул и сорвался, и она кашлянула, пряча это. — А я уж думала, ты так и будешь дрыхнуть до зимы, герой. Тяжело же тебя дозваться.

— Сколько? — выговорил я. Голос вышел чужой, тихий, как шорох. — Сколько я... спал?

— Девять дней, — сказала она. И всё-таки не выдержала тона — он переломился: — Девять дней, Адам. Тебя нашли в порту, в каком-то тупике, и ты был... — Она запнулась. Сглотнула. — Я думала, ты не очнёшься. Лекари думали. Все думали.

Она замолчала. Потом, будто рассердившись на себя за эту слабость, нахмурилась и снова натянула усмешку:

— Так что не вздумай больше так делать. Я не для того девять дней протирала тут стул, чтобы ты опять куда-нибудь влез и сдох.

— Рейнар, — сказал я. Это было первое, что я должен был спросить, и стыдно, что не первым спросил. — Мальчик. Он...

— Жив, — сказала Кассия, и впервые в её голосе мелькнуло что-то светлое. — Жив, представь себе. Изранен страшно, но жив. Он в соседней комнате. Его тоже выходили. — Она посмотрела на меня внимательно, и взгляд её стал мягче, чем ей, должно быть, хотелось. — Ты его вынес, Адам. На себе. Не помнишь?

Я помнил. Огонь, дым, ремни, что лопнули, как гнилая нить. «...бронза?» — выдохнул он мне тогда разбитыми губами. Я помнил.

— Помню, — сказал я.

— Дурак ты, — сказала Кассия тихо, без всякой колкости, одними губами. — Геройский дурак.

И накрыла мою руку своей. И на этот раз я знал, что вижу её ясно — не сквозь дым, не на краю гаснущего сознания, а вот так, наяву, при свете дня. И знал, что должен бы убрать руку.

Я не убрал.

За окном, которого я ещё не видел, кричали чайки, и где-то далеко звонил колокол, и шла, не зная обо мне, чужая огромная жизнь чужого огромного мира, в котором я застрял — и в котором, кажется, начинал, сам того не желая, пускать корни.

Я знал только, что я жив. Что мальчик жив. Что дом всё так же далеко.

И что устал я так, что даже тосковать по нему сегодня не было сил.

* * *

Глава 2. Светлый Клинок

К Рейнару я пошёл сам. И один.

Прошло ещё несколько дней, прежде чем тело начало возвращать хоть что-то из отнятого. Силы сочились обратно медленно, по капле, как наполняется колодец после засухи, — но на четвёртый или пятый день после того, как я очнулся, я уже мог сидеть, потом — стоять, держась за спинку кровати, потом — сделать несколько шагов вдоль стены. Кассия ворчала, что рано, что лекари не велели, что я опять что-нибудь себе сорву. Я не спорил. Я просто дождался, когда она вышла, поднялся, держась за всё, что попадалось под руку, и побрёл к двери.

Это надо было сделать самому. И одному.

Соседняя комната была через коридор. Десять шагов, не больше. Я одолел их, как одолевают горный перевал, — останавливаясь, переводя дух, держась за стену. Дурацкое, унижительное чувство: тело, что недавно валило хозяев ярусов и разносило лаборатории, теперь не могло пройти коридор без передышки. Но я дошёл. Толкнул дверь. Вошёл.

* * *

Рейнар лежал на такой же кровати, как моя, у окна, и был похож на то, что остаётся от человека, а не на самого человека.

Лекари сделали много — и магией, и руками. Раны были закрыты: порезы затянулись бледными рубцами, ожоги сошли молодой розовой кожей, сломанные пальцы срослись. Чарами лечения тут поработали на совесть — там, где неделю назад было кровавое месиво, теперь была почти целая плоть.

Но я знал то, что знал в этом мире каждый, кому случалось бывать битым: чары затягивают раны, но не возвращают того, что из тебя вытекло вместе с кровью. Силу. Кровь. Само нутро. Это не лечит ни одна магия — это лечит только время, отдых да горячая похлёбка. И потому Рейнар, у которого снаружи почти не осталось ран, лежал пластом, обескровленный, выжатый до костей, страшный именно этой пустотой при зажившем теле. Лицо его, уже без открытых ран, всё равно было серым, ввалившимся, чужим. Он исхудал так, что под кожей проступали кости. Магия подняла его с того света — а от смертной усталости, в которую его вогнали, ему ещё предстояло выкарабкиваться самому, неделями.

И всё же — он был жив. Дышал ровно. И, когда я вошёл, повернул голову и открыл глаза.

Несколько мгновений он смотрел на меня молча. А потом разбитые губы тронула знакомая кривая усмешка — слабая тень прежней, но та же самая.

— Гляди-ка, — проговорил он хрипло, едва шевеля губами. — Бронза. Сам пришёл. На своих двоих. — Он перевёл дыхание; даже говорить ему было тяжело. — А мне сказали, ты девять дней лежал колодой и тебя соборовать собирались. Брехали, выходит.

— Брехали, — сказал я и опустил на стул у его кровати, потому что стоять больше не мог. — Тебя, я смотрю, тоже рано хоронить.

— Меня? — Он усмехнулся и тут же сморщился от боли. — Меня, бронза, голыми руками не возьмёшь. Я двужильный.

Бронза. Я едва не улыбнулся. Так он окрестил меня в первый же день, там, в Грейфолле, — серебряный щёголь, второй меч выпуска, что свысока, через губу глянул на мою фронтирную бляху и потрёпанную куртку. «Не дрейфь, бронза, со мной не пропадёшь». С тех пор я перерос ту бляху на двадцать с лишним ярусов, а кличка осталась — и теперь, из его разбитых губ, звучала уже не насмешкой, а чем-то вроде позывного, понятного двоим.

Усмешка сползла с его лица. Он помолчал, разглядывая меня запавшими глазами, и сказал уже без всякой бравады, тихо:

— Ты за мной пришёл. В то логово. Один, без оружия, зная, что это западня. Пришёл и вытащил.

— Пришёл, — сказал я.

— Зачем? — спросил он прямо. — Я тебе никто, Адам. Напарник на пару спусков. Ты меня и знал-то без году неделю. Зачем ты полез в петлю за чужим человеком?

Я подумал.

— Затем, — сказал я, — что своих не бросают. А ты к тому времени стал своим. Не заметил как.

Рейнар отвернулся к окну. Я успел заметить, как дёрнулся у него кадык. Когда он снова заговорил, голос был ровный — слишком ровный.

— Я слышал, ты там всё спалил, — сказал он. — Лабораторию. Их всех. И его.

— И его, — подтвердил я.

— Вален, — выговорил Рейнар имя, как выплёвывают что-то горькое. — Магистр Вален. Мой наставник. — Он коротко, страшно усмехнулся в потолок. — Восемь лет, Адам. Восемь лет он меня ломал и лепил в Академии. Гонял до кровавых мозолей. Называл пустозвоном, белоручкой, дворянским сынком, из которого толку не выйдет. Я его ненавидел — и я хотел, чтобы он мной гордился. Так бывает с теми, кто тебя учит. — Голос у него сел. — А он с самого начала водил меня на верёвочке. Подсунул меня в ту дыру в Грейфолле, чтобы я там сгинул и не путался под ногами. А когда я не сгинул — выкрал, привязал к стулу и резал, чтобы выпытать про тебя. Восемь лет. И всё это время я для него был — расходный материал.

Он замолчал. Я не лез с утешением. Я знал, что такое, когда у тебя из-под ног выдёргивают человека, на которого ты опирался, — Дорн научил меня этой пустоте. Тут нечего сказать. Можно только посидеть рядом, чтобы не молчать одному.

— Я рад, что ты его убил, — сказал наконец Рейнар. — И мне за эту радость не стыдно.

* * *

Мы помолчали. За окном кричали чайки — значит, мы и впрямь были где-то у воды.

А потом Рейнар сказал то, ради чего, я думаю, и держался все эти дни, ждал, когда я приду.

— Я слышал, — сказал он.

— Что слышал?

Он повернул голову и посмотрел на меня в упор, серьёзно, без тени усмешки.

— Всё, — сказал он. — Я был в сознании, Адам. Там, на стуле. Я только притворялся, что уже не соображаю, — так меньше бьют. Я слышал всё, что ты сказал Валену. Перед тем, как сорваться. — Он не отвёл взгляда. — Про другой мир. Про Землю. Города из стали выше гор. Повозки без лошадей. Голоса через полмира. И корабли, что плывут между звёзд.

Я молчал. Внутри сделалось холодно и очень тихо. Я думал, что эта тайна сгорела вместе со всеми, кто был в том зале. Я ошибся. Один её слышал — и выжил.

— Вален решил, что ты издеваешься, — продолжал Рейнар. — Что плетёшь сказку, лишь бы потянуть время. Я видел его лицо. Он не поверил ни единому слову. — Рейнар помолчал. — А я поверил.

— Почему? — спросил я тихо. — Почему ты поверил в то, во что не поверил твой наставник, который видел в сто раз больше моего?

— Потому что я тебя знаю, — сказал Рейнар просто. — А он — нет. Он видел донесения. Цифры. Слухи. А я с тобой ходил в Колодец. Я своими глазами видел, как ты делаешь то, чего человек делать не может. Как ты прёшь вниз, ярус за ярусом, будто тебя кто-то гонит. Как ты дерёшься, как растёшь, как не боишься смерти — потому что, я теперь понимаю, у тебя смерть не главный страх, а главный страх — не вернуться. — Он перевёл дух. — Я давно чуял, что с тобой что-то не так. Не плохо — а просто не так, не по-нашему. Я списывал на чудачество. А оно вон что. Ты не отсюда. И знаешь, Адам, — он слабо усмехнулся, — как только я это услышал, всё про тебя вдруг сошлось. Будто кто-то наконец объяснил загадку, над которой я голову ломал. Ты не сумасшедший и не врёшь. Ты просто очень, очень далеко от дома.

У меня перехватило горло — во второй раз за эти дни. Я молчал, потому что не доверял голосу.

— Так вот, — сказал Рейнар, и в голосе его появилась твёрдость, какой я ещё у него не слышал, — слушай меня, Адам, и слушай хорошо, потому что повторять я этого не люблю. Они резали меня, чтобы я рассказал про тебя — кто ты, откуда взялся, в чём твоя сила. Я не сказал ни слова. Ни единого. — Он перевёл дух. — А про другой мир я узнал случайно, там же, на стуле. И вот тебе моё слово: эта тайна умрёт со мной. Может, я единственный, кто её знает во всём этом мире, — и пусть так и останется. Никому. Никогда. Хоть режь меня снова, хоть осыпь золотом. — Он перевёл дыхание. — Ты пришёл за мной в петлю. Я тебе теперь должен жизнь. Светлый Клинок долги отдаёт. Считай, что твою тайну стережёт ещё один клинок. Мой.

Я смотрел на этого избитого, исхудавшего мальчишку, который под пытками не сказал ни слова о человеке, знакомом без году неделю, — и понимал, что вот сейчас, в этой тихой комнате у воды, я обрёл то, чего у меня не было с самой смерти Дорна. Того, кто знает обо мне всё — и всё равно стоит за меня.

— Спасибо, — сказал я. Это было скудно, но другого у меня не нашлось.

— Сочтёмся, — буркнул Рейнар и закрыл глаза; разговор вымотал его дочиста. — Иди уже, бронза. На тебя смотреть — самому худо. Краше в гроб кладут. Оба хороши.

Я поднялся — медленно, держась за стул.

— Поправляйся, Светлый Клинок, — сказал я.

— И ты, — отозвался он, не открывая глаза. — И вот ещё что, Адам.

— Что?

— Дом, — сказал он тихо, уже почти засыпая. — Ты до него доберёшься. Я не знаю как. Но если кто и может продраться через всю эту бездну обратно к своим — сколько бы там ни было ярусов до дна, — так это ты. Я в это верю. Имей в виду.

Я не нашёлся, что ответить. Я вышел, тихо притворив за собой дверь, и долго стоял в коридоре, держась за стену, — и не только потому, что не было сил.

Дом, сказал он. Ты доберёшься.

Хотел бы я в это верить так же, как он.

* * *

Глава 3. Дом маркиза

Чей это дом, я узнал на следующий день после того, как сходил к Рейнару.

Я как раз одолел своё главное на тот момент достижение — путь от кровати до кресла у окна — и сидел, отдыхая от этого подвига, когда дверь открылась и вошёл маркиз Эрвейн.

Он был такой же, как всегда: подтянутый, негромкий, в тёмном без единого лишнего шва. Только теперь, глядя на него из кресла в чужой спальне, я наконец сложил то, что должен был сложить раньше: добротная тишина этого дома, вышколенная прислуга, что приносила еду и не задавала вопросов, лекари, что приходили дважды в день, чайки и колокол за окном — тот самый квартал у воды, вверх от порта, где дома прячутся за оградами и зеленью.

— Ваш дом, — сказал я вместо приветствия.

— Мой, — согласился Эрвейн, придвигая второе кресло и садясь напротив. — Прошу простить, что не представил вам его раньше. Вы были не в том состоянии, чтобы ценить гостеприимство. — Он окинул меня взглядом, цепким и быстрым, как у лекаря. — Уже сидите. Хорошо. Лекари говорили — раньше чем через месяц не встанете.

— Лекари не знали, с кем имеют дело.

— Лекари, — сказал маркиз, — впервые в жизни имели дело с человеком, у которого нет ни одной раны — и который при этом девять дней был ближе к мёртвым, чем к живым. Они щупали вас, разводили руками и говорили мне странные вещи. Что тело ваше цело, а внутри — выжжено. Что так не бывает. Что лечить нечего: чарами затягивают раны, а не пустоту. — Он помолчал. — Мне стоило некоторого труда убедить их не задавать вопросов. К счастью, я умею убеждать.

— Как я здесь оказался?

— Кассия, — просто сказал Эрвейн. — Когда вы исчезли ночью из своей комнаты, не сказав никому ни слова, она подняла на ноги половину моих людей. К утру весь порт уже говорил только о пожаре — а она перебирала переулочек за переулочком. Вас нашли в тупике, в двух кварталах от пепелища. Вы лежали рядом с мальчиком, и никто из моих людей поначалу не взялся сказать, кто из вас двоих ближе к покойнику. — Он посмотрел на меня ровно. — Она не отходила от вашей постели девять дней. Полагаю, это вы уже заметили.

Я заметил. Я промолчал.

* * *

— Ну что ж, — сказал маркиз, откидываясь в кресле. — Раз вы уже сидите, поговорим. Начнём с новостей, которых вы не слышали. — Он сложил пальцы домиком, знакомым жестом. — Столица, мастер Адам, вторую неделю не говорит ни о чём, кроме той ночи. Пожар в порту видели с другого берега. Огненные снопы над складом — синие, золотые — обсуждают в каждом трактире, в каждой гостиной и, поверьте, в каждом кабинете дворца. Народ попроще решил, что это знамение Создателя. Народ поумнее — что рванул чей-то тайный склад искр, и теперь гадают чей. Гильдия молчит, как воды в рот набрала. Стража нашла на пепелище кости — много костей — и очень хочет знать, чьи они. — Он сделал паузу. — А я сижу и слушаю все эти разговоры, зная то, чего не знает никто из них: что сгорело той ночью и кто устроил городу этот, как его теперь зовут в народе, фейерверк.

Я выдержал его взгляд.

— Вы ждёте, что я начну оправдываться.

— Я жду, что вы расскажете, — сказал Эрвейн. — С того места, на котором мы расстались в этом самом доме. Мы условились действовать вместе, терпеливо, не спугнув. А через несколько дней вы исчезаете ночью, и тайная лаборатория Ордена — та самая, куда они, как я вам и говорил, свозили искры, и которую я безуспешно искал не один год, — взлетает на

воздух вместе со всеми, кто в ней был. В получасе ходьбы от моего дома, в порту, у меня под носом. Согласитесь, мне любопытно, что уместилось между этими двумя событиями.

И я рассказал.

Почти всё. Записку под дверью. Склады в конце набережной. Валена — имя, которое я до того придерживал, теперь смысла придерживать не было: и человек, и ячейка обратились в пепел. Фиолетовый дым. Плиты, оковы, колбы с сердцами дыр. Допрос. Рейнара, привязанного к креслу, и серповидный нож. И то, как во мне что-то сорвалось — я не стал вдаваться, что именно, сказал лишь: сорвался, — и чем это кончилось для лаборатории и для всех, кто в ней был.

О Земле я не сказал ни слова. О том, что оковы я разорвал не яростью, а тем, что хлынуло из-за сломанного замка, — тоже. Маркиз получил правду — ровно ту, которую мог унести.

Он слушал не перебивая, глядя в окно, и лицо его не менялось. Только когда я дошёл до серповидного ножа и до того, что Вален делал с Рейнаром, — у него едва заметно дёрнулась щека.

Когда я закончил, в комнате долго было тихо.

* * *

— Магистр Вален, — проговорил наконец Эрвейн. — Наставник из Академии Искателей. Двадцать лет безупречной службы. Учил половину золотых искателей этого города. — Он покачал головой. — Вот, значит, как глубоко они сидят. А я его знал, представьте. Раскланивался на приёмах. Пожимал руку.

— Я должен вам сказать одну вещь, — сказал я. Это надо было сказать прямо, и я сказал прямо: — Я сорвал всё, что мы с вами условились строить. Вы просили терпения — я сжёг единственную нить к Ордену за одну ночь. Вален был узлом, через который можно было идти выше. Его люди знали, откуда свозят сердца и куда. Их записи, их книги — там были годы их работы, и всё это могло стать нашим. Я всё это уничтожил. Не по плану, не по расчёту — в ярости. Я вышел из себя, и охота, которую вы вели годами, откатилась к началу. — Я посмотрел ему в глаза. — Простите. Вы поставили на меня, а я оказался дурным вложением.

Эрвейн выслушал это молча. Потом отвернулся к окну и какое-то время смотрел на воду за стёклами.

— Ничего, — сказал он.

Я ждал чего угодно — холодной ярости, расчётливого разочарования, разрыва. Но не этого спокойного, почти легкомысленного слова.

— Ничего? — переспросил я. — Я только что рассказал вам, как собственными руками сжёг годы вашей работы.

— А я вам сейчас расскажу, что вы сожгли на самом деле, — сказал маркиз, поворачиваясь. В глазах у него было что-то, чего я не ждал: не гнев и не досада, а спокойный, глубокий расчёт человека, который уже всё пересчитал заново. — Вы рассуждаете как охотник, потерявший след. А я политик, мастер Адам, и я считаю иначе. Смотрите. Что мы имели месяц назад? Тень, о которой я знал, а она не знала, что я знаю. Одну ниточку, которую предстояло годами разматывать, не дыша. И это был хороший план — для мира, в котором Орден не трогает вас первым. — Он подался вперёд. — Но они тронули. Они выкрали вашего напарника, заманили вас в ловушку, приковали к столу и собирались вскрыть, как лягушку. Ваша смерть была делом дней. Мой терпеливый план не учитывал одного: что охотились уже на вас. Так что давайте начистоту: той ночью вы не сожгли мой план. Вы сожгли их план. А это, согласитесь, разница.

Я молчал, перебаривая.

— А теперь о том, что мы приобрели, — продолжал Эрвейн, и голос его стал твёрже. — Впервые за все годы моей охоты Орден не взял своё. Они потеряли ячейку, лабораторию, годы работ, своего человека в Академии — и не получили взамен ничего. Все, кто был в том зале, кто слышал вас и видел, — мертвы. Да, кто-то из ячейки мог уцелеть — курьер, наблюдатель,

тот, кто писал вам записку. И они знают, кого заманивали. Но поставьте себя на их место, мастер Адам. Они взяли пленника — одного, без оружия, усыпленного, скованного адамантом. Верное дело. А наутро от их логова остались головешки и кости, и из всех, кто там был, не выжил никто. Они не знают, как вы это сделали. Не знают, что вы такое. Не знают, что вы успели увидеть и узнать в той лаборатории, кому рассказали и кто за вами стоит. — Он усмехнулся, тонко и холодно. — Вы понимаете, что это значит? Годами они были тенью, которая пугала нас. А теперь эта тень сама узнала, что бывает, когда хватаешь в темноте не ту добычу. Впервые — они. Боятся. Нас.

Он поднялся, прошёлся по комнате — я уже знал за ним эту привычку думать на ходу.

— Так что — ничего, — повторил он. — Старый план мёртв, это правда. Тихой охоты больше не будет: после такого пожара они зареются так глубоко, что тень их не найдёт и за десять лет. Значит, менять надо не нить. Менять надо охотника. — Он остановился напротив меня. — У меня есть новый план, мастер Адам. Он мне нравится больше старого. Но для него вы нужны мне живым, здоровым и сильным — сильнее, чем прежде. Поэтому сейчас вы будете есть, спать и восстанавливаться, а когда встанете на ноги по-настоящему — мы поговорим о деле. Обещаю, скучно не будет.

Он направился к двери, но у порога обернулся:

— И вот ещё что. Кассия не спала девять суток и не съела за это время, по-моему, ничего, кроме собственных ногтей. Я отправил её отсыпаться едва ли не силой. — Он помедлил, и что-то человеческое, тёплое мелькнуло под всегдашней ровностью. — Она упряма, как ослица, и никого не слушает. Но вас, кажется, слушает. Скажите ей, чтобы поберегла себя. Меня она в этом вопросе ни в грош не ставит.

И вышел, оставив меня с этим странным поручением, с новым планом, о котором я ничего не знал, и с целым ворохом мыслей, среди которых одна — про то, что тень теперь боится нас, — грела неожиданно сильно.

А другая — про упрямую ослицу, что девять суток не отходила от моей постели, — грела совсем иначе. И этому теплу я приказал себе не доверять.

Приказал. Как будто это когда-нибудь помогало.

* * *

Глава 4. Новый план

О деле маркиз заговорил со мной через три недели.

Все эти три недели я занимался самым тяжёлым трудом, какой знал в обоих мирах: ничего не делал. Ел. Спал. Ходил по саду — сначала до скамьи и обратно, потом вокруг пруда, потом, к концу третьей недели, уже час без передышки, злым размашистым шагом человека, которому надоело быть развалиной. Сила возвращалась — медленно, как я и ждал, но возвращалась: тело наливалось прежней плотной тяжестью, руки снова помнили вес клинка, и однажды утром я поймал себя на том, что смял в пальцах оловянную кружку, задумавшись. Прислуга сделала вид, что не заметила. Я сделал вид, что так и было задумано.

А то, новое, за сломанным засовом, — гудело. Ровно, глубоко, терпеливо. Я его не трогал. Ещё не время было его трогать.

И вот на исходе третьей недели слуга передал: его светлость просит мастера Адама в кабинет.

* * *

Кабинет был тот самый — без окон, с тяжёлой дверью. Только на этот раз на столе была разложена карта Колодца: длинный свиток, весь в пометках, ярус за ярусом уходящий вниз и обрывающийся, как обрывались все такие карты, на тридцать четвёртом ярусе — глубже за сотни лет не спускался никто, и дальше шла чистая, никем не заполненная пустота.

— Садитесь, мастер Адам. — Эрвейн был деловит и собран, как полководец накануне кампании. — Вы уже гнёте кружки, как мне доложили. Значит, пора.

Я сел. Кассии в кабинете не было — и я отметил про себя, что отметил это.

— Я обещал вам новый план, — сказал маркиз. — Извольте. Но начну с того, почему умер старый. — Он прошёлся вдоль стола. — Старый план строился на тени. Мы прячемся, мы терпим, мы тянем ниточку. Этот план умер в ту ночь в порту — и, скажу вам честно, туда ему и дорога, потому что он с самого начала был планом слабых. Мы прятались, потому что были слабее. А слабых, как выяснилось, Орден просто приходит и забирает. Вас выманили, мастер Адам. Одной запиской, подсунутой под дверь, — выманили одного, безоружного, прямо к себе в руки, как мальчишку. И если бы не то, что вы... таков, каков вы есть, — вас бы сейчас разбирали на столе, а я бы до сих пор терпеливо тянул свою ниточку и ничего не знал.

Он остановился напротив.

— Больше мы не прячемся. Новый план — обратный старому. Мы делаем вас человеком, которого нельзя тронуть.

— Нельзя тронуть, — повторил я. — Это как?

— А вот это уже интереснее. — Он загнул палец. — Первое: сила. Она у вас есть, и после той ночи о ней шепчется весь город, хоть и не знает имени. Второе: ранг. Золотой искатель — не бронзовая бляха с фронтира; это статус, перед которым открываются двери и снимаются шляпы. Третье, — он загнул третий палец и посмотрел на меня, — положение. Титул. Земля. Место в том мире, где живут не искатели, а те, кто искателей нанимает. — Он выдержал паузу. — Человек без роду и племени может исчезнуть ночью, и никто не спросит. Барон, облаканный короной, золотой искатель, о котором говорит столица, — не может. Его исчезновение — скандал, розыск, вопросы, на которые Ордену очень не захочется отвечать. Каждая ступень вверх — это стена между вами и их ножом. Мы возведём эти стены так высоко, что им останется одно: сидеть тихо и смотреть, как вы становитесь сильнее. А потом, когда вы станете достаточно сильны и достаточно неприкасаемы... — он тонко улыбнулся, — искать начнём уже мы. С позиции силы. Не из тени — со света, где нам всё видно, а им спрятаться некуда.

Я слушал и считал. План был хорош — по-маркизовски хорош, выверен, как грессбух. Но в нём была одна строка, о которую я запнулся.

— Золотой ранг, — сказал я. — Забавно. Не так давно в этом самом доме мне настоятельно советовали золото не брать. Вы советовали. И Кассия. Незаметность, помните? Не спугнуть ячейку.

— Помню, — спокойно кивнул Эрвейн. — Хороший был совет. Для того мира, в котором ячейка ещё существовала, а вы были для них любопытной зверушкой, за которой наблюдают. Тот мир кончился. Ячейка — пепел, наблюдатели — кости на пепелище, а вы для них теперь не зверушка, а ночной кошмар без имени. Прятаться стало не от кого и незачем: те, от кого мы прятались, сами забились в щели. — Он развёл руками. — Обстоятельства изменились, мастер Адам. Держаться старого совета в новых обстоятельствах — не верность, а глупость. Теперь незаметность вас не защищает. Теперь вас защищает только высота.

Возразить было нечего. Я и не стал.

— Значит, тридцатый ярус, — сказал я, глядя на карту.

— Значит, тридцатый, — подтвердил маркиз. — И вот тут начинается то, что я люблю больше всего: когда одно дело работает на три цели разом. — Он склонился над свитком. — Смотрите. Тридцатый ярус даёт вам золото — это раз. Пройти его сейчас, меньше чем через два месяца после того, как вас едва не отпели, — это уже не ранг, это легенда, а легенды в этом городе стоят дороже золота, — это два. И три... — он постучал пальцем по краю карты, там, где пометки обрывались в пустоту, — вам ведь всё равно вниз, мастер Адам. Не знаю зачем, и не спрашиваю — вы не рассказываете, я не лезу, таков наш уговор. Но я давно заметил: всё, чего вы хотите, лежит внизу. Так вот, мой план — редкий случай, когда ваша дорога и моя стратегия совпадают до шага. Мне нужно, чтобы вы поднимались в глазах людей. Для этого вам нужно спускаться в Колодец. По-моему, нас обоих это устраивает.

Он был прав. Я смотрел на карту — на обжитые, исписанные пометками верхние ярусы и на белую немоту ниже тридцать четвёртого — и чувствовал знакомую тягу, ту самую, что вела меня с первого дня. Вниз. К голосу. К дому. Всё остальное — золото, титулы, стены из статуса — было для меня лишь обвесом на этой дороге. Но обвес, который прикрывает спину от ножа, — полезный обвес. Дорн одобрил бы. «Выживает осторожный», — сказал бы он. А осторожный не отказывается от брони, даже если броня из придворных поклонов.

— Хорошо, — сказал я. — Тридцатый. Кто идёт со мной?

— Кассия — разумеется; попробуйте её не взять — узнаете о себе много нового. И я дам вам двоих своих людей — проверенных, молчаливых и знающих, когда надо посмотреть в другую сторону.

— Не нужно, — сказал я.

Эрвейн поднял бровь.

— Ваши люди наверняка хороши, — сказал я. — Но в Колодце я доверяю спине тем, кого проверил сам. Не вы. Мне не нужны ваши двое. Мне нужен Рейнар.

— Рейнар, — повторил маркиз без выражения. — Мальчик, которого месяц назад по кускам собирали. Лекари ему до сих пор лестницы не советуют.

— Лекари и мне не советовали вставать раньше чем через месяц, — сказал я. — Раны на нём давно затянуты, вашими же чарами. Осталась слабость — а слабость лечится тем же, чем лечилась моя: временем, едой и делом. Вы сами сказали: готовиться без спешки. Вот и подготовимся — оба. К спуску он будет на ногах. — Я выдержал его взгляд. — И ещё одно. Он молчал под их ножами — обо мне. Таких людей не оставляют на берегу, ваша светлость. Таких берут с собой. Куда я без Рейнара.

Эрвейн смотрел на меня несколько долгих мгновений, и я не мог понять, что перевешивает в этом взгляде — неодобрение или что-то ровно противоположное.

— Знаете, что в вас самое неудобное, мастер Адам? — сказал он наконец. — С вами невозможно спорить, не соглашаясь. Хорошо. Рейнар. Но уговор: если к дню спуска лекари

скажут, что он не готов, — он остаётся, и без разговоров. Легенде не пойдёт на пользу, если по дороге к золоту вы будете нести напарника на плечах. Опять.

— Уговор, — сказал я.

— Готовьтесь без спешки. — Эрвейн свернул карту. — Мне нужен не подвиг, мне нужен уверенный, чистый проход, о котором заговорят. Легенды не любят суеты.

— А потом?

— А потом, — сказал маркиз, и вот тут в его голосе появилось что-то новое — предвкушение игрока, у которого в рукаве лежит карта, которую он ещё не показывал, — потом будет аудиенция. Я представлю вас ко двору. Его величество любит награждать героев лично — а уж героя, который взял золото через два месяца после смертного одра, он не пропустит ни за что.

— Вы так уверенно говорите о короле, — заметил я. — Даже для приближённого.

Что-то мелькнуло в глазах Эрвейна — быстрое, весёлое, тут же спрятанное.

— Я знаю его величество дольше, чем вы живёте на свете, мастер Адам, — сказал он ровно. — И смею думать, что неплохо изучил, что он любит. Готовьтесь к спуску. Об остальном позабочусь я.

Он проводил меня до дверей кабинета, и уже на пороге я обернулся:

— Одно условие, ваша светлость. Вернее, просьба.

— Слушаю.

— Когда всё это закрутится — ранги, дворы, титулы, — не давайте мне забыть, зачем я на самом деле спускаюсь. — Я сам не знал, зачем говорю это ему, человеку, которому не рассказывал о доме. Может, затем, что больше было некому. — Это всё — леса вокруг стройки. Не сама стройка.

Маркиз посмотрел на меня долгим взглядом, и мне показалось, что он понял больше, чем я сказал.

— Не дам, — сказал он просто. И закрыл дверь.

А я пошёл по коридору — мимо высоких окон, за которыми садилось солнце над чужим прекрасным городом, — и думал о том, что впервые с той ночи у меня снова есть план, дорога и дело. И что где-то под этим — тихо, на самом дне, как ил под чистой водой, — лежит мысль, которую я старался не поднимать: что дорога домой опять ведёт через годы. Что я снова говорю себе «потом». И что слово «потом» я произношу всё легче.

Вот этого — того, как легко оно стало произноситься, — я и боялся больше всего.

* * *

Глава 5. Передышка

За вещами я пошёл сам. Со мной увязалась Кассия — вернее, это я увязался с ней, потому что спорить с ней о том, кто кого сопровождает, было делом безнадёжным.

— Один ты по городу не пойдёшь, — заявила она, застёгивая перевязь. — Во-первых, ты ещё зелёный, как утопленник, и если грохнешься посреди улицы, мне же тебя и тащить. Во-вторых... — она подумала и решила не утруждаться, — во-вторых, хватит и во-первых.

Так мы и вышли — впервые за полтора месяца я оказался за оградой маркизова дома, на улицах Корвенгарда, среди живых людей, шума, запахов рынка и мокрого камня. День был серый, тёплый, с моря тянуло солью. Я шёл и ловил себя на странном: город, в который я когда-то вошёл чужаком с мешком за плечом, стал за это время... нет, не домом. Но местом, где у меня были улицы, которые я знал, люди, которым я был должен, и люди, которые были должны мне. Так, наверное, и начинается оседлость — не с любви, а с долгов.

По дороге я услышал о себе много интересного.

У хлебной лавки две кумушки обсуждали «ту самую ночь»: одна божилась, что над портом видели огненного змея, другая стояла на том, что это Создатель покарал контрабандистов. У оружейной мальчишка-подмастерье рассказывал покупателю, понизив голос, что склад спалил «один искатель, которому Гильдия дорогу перешла», — и покупатель кивал с видом человека, знающего больше, чем говорит. А на площади у фонтана седой сказитель уже пел про «ночь ста огней» — складно, громко и мимо правды на целую пропасть.

— Слыхал? — Кассия шла рядом, руки за спиной, и откровенно наслаждалась. — «Ночь ста огней». Ты теперь фольклор, герой. Дожил.

— Там не было ста огней.

— Ой, помолчи. Не порть людям песню.

* * *

Постоялый двор встретил меня знакомым скрипом лестницы. Хозяин, увидев меня, побледнел, потом покраснел, потом забормотал, что комнату он сохранил, всё как было, ничего не тронута, — по его лицу было ясно, что о постояльце он наслушался такого, что предпочёл бы сохранить не комнату, а дистанцию. Я расплатился за полтора месяца, не торгуясь. Он посмотрел на монеты так, будто они могли взорваться.

Комната была нетронута. Пыль легла на подоконник, на стол, на сложенное одеяло. У стены, в углу, стоял, как я его оставил, алмазковый клинок — тёмно-синий, ровный, терпеливый. На столе лежал нож Дорна, костяной рукоятью ко мне.

А у изголовья кровати, в маленькой нише, лежало кольцо.

Я взял его первым — раньше клинка, раньше ножа. Простое обручальное кольцо, единственная вещь, что прошла со мной между мирами. Оно легло в ладонь знакомой невесомой тяжестью — и было тёплым. Как всегда. Тепло, которому я не знал объяснения и в которое запретил себе вдумываться: оно просто было, единственная ниточка, единственное «там» посреди всего этого «здесь». Я держал его в ладони и слышал, как внизу, на лестнице, Кассия что-то выговаривает хозяину — беззлбно, для порядка.

Мира. Я здесь. Я всё ещё иду. Просто дорога оказалась длиннее, чем я думал. Опять.

Раньше я оставлял его здесь, в этой нише, — надевал ночами, когда никто не видел, а в дыры не брал: боялся потерять, расплющить о чужую броню, и ещё больше боялся, что кто-нибудь однажды спросит, что это за кольцо. Но той ночью меня выманили из этой самой комнаты — и полтора месяца оно пролежало тут одно, в пыли, никому не нужное, пока я умирал на другом конце города. Больше так не будет. Я нашёл в вещах крепкий шнурок, продел, повесил на шею, под рубаху, к самой коже. Вниз, в Колодец, я его по-прежнему не возьму — там ему не место. Но по верхнему миру оно теперь поедет со мной. У сердца. Где ему и положено.

Тепло легло на грудь, и стало разом легче и тяжелее — как всегда.

Потом я взял нож Дорна. Потом — клинок. Он отозвался в руке едва слышной, знакомой дрожью, будто спрашивал, где мы были так долго.

— Дома, — сказал я ему тихо. — Отлёживались.

— Ты разговариваешь с мечом, — констатировала Кассия от двери. Она стояла, привалившись плечом к косяку, и смотрела на меня со странным выражением. — Мне начинать беспокоиться?

— Он хороший собеседник. Не перебивает.

— Намёк поняла. — Она вошла, окинула взглядом комнату — пыль, узкую кровать, тощий стол. Задержалась глазами на моей груди, где под рубахой угадывался шнурок, — на мгновение, не дольше, и ничего не спросила. — Собрался? Тогда пошли отсюда. Ненавижу это место.

— Ты здесь впервые.

— Вот именно отсюда тебя и выманили той запиской, — сказала она, не глядя на меня, уже поворачиваясь к двери. — С этого самого порога ты ушёл ночью один, никому не сказав, и пропал. Так что да, я здесь впервые — и уже ненавижу. Идём.

Я посмотрел ей в спину — прямую, упрямую — и пошёл следом, унося на себе всё своё имущество: клинок, нож и кольцо. Всё, чем я владел в этом мире, помещалось на одном человеке. Через месяц-другой, если маркизов план сработает, у меня будут титул и земля. А всё, что имело цену, — уже сейчас висело на шнурке у сердца.

* * *

Обратно мы шли долго — Кассия сказала, что мне «надо нагуливать ноги», и повела кругом, через верхние улицы, где город раскрывался вниз, к воде, черепичными волнами крыш. Мы купили у лоточника горячих лепёшек с сыром и ели на ходу, как мальчишки, и она рассказывала мне городские сплетни за полтора месяца — кто на ком женился, кого обокрали, что вытворил по пьяни капитан портовой стражи, — и я поймал себя на том, что смеюсь. Второй раз за этот год. И оба раза — рядом с ней.

У смотровой площадки над портом она остановилась. Внизу, далеко, темнело пятно выгоревшего склада — чёрная проплешина среди серых крыш.

— Кстати, — сказал я, вспомнив. — Мне велено передать тебе кое-что. От маркиза.

— М-м?

— Дословно: «Скажите ей, чтобы поберегла себя. Меня она в этом вопросе ни в грош не ставит».

Кассия фыркнула.

— Старый ворчун. Он бы ещё нянку ко мне приставил.

— Он сказал, ты упряма, как ослица.

— А вот это уже клевета. — Она вздёрнула подбородок. — Ослица упирается без толку. Я упираюсь исключительно по делу.

— Девять суток без сна — это по делу?

Она осеклась. Я не собирался этого говорить — оно вышло само, и забрать было уже нельзя. Кассия молчала, глядя вниз, на порт, и ветер трепал пепельные пряди у её лица.

— Кто растрепал? — спросила она наконец ровно. — Маркиз?

— Маркиз.

— Болтун. — Она помолчала. — Не бери в голову, герой. Просто... — она подбирала слова с несвойственной ей осторожностью, — просто когда тебя принесли, ты был как эти твои искры, из которых всё выпили. Оболочка. И лекари разводили руками, и никто ничего не мог, и оставалось только сидеть и ждать, в какую сторону оно качнётся. Вот я и сидела. Кто-то же должен был. — Она пожала плечами, подчёркнуто небрежно. — Не воображай лишнего.

— Не воображаю, — сказал я.

— Вот и славно.

Мы стояли рядом и смотрели на город, и молчание было не неловким — оно было тёплым, из тех молчаний, которые дороже разговоров. Ветер нёс запах соли и дыма. Под рубахой, у сердца, лежало тёплое кольцо. Рядом, в полушаге, стояла живая тёплая женщина, которая девять суток сторожила мою жизнь, — и от этих двух теплот, таких разных, у меня внутри всё скручивалось тихим, безвыходным узлом.

Я аналитик. Я привык раскладывать любую задачу на части, находить решение, действовать. Но эта задача не раскладывалась. У неё не было решения — были только цены, одна другой хуже.

— Пошли, — сказала Кассия, отталкиваясь от парапета. — Скоро стемнеет, а ты ещё зелёный.

— Я думал, мы выяснили, что я гну кружки.

— Кружки, — согласилась она через плечо, — не ярусы. Вот возьмёшь тридцатый — тогда и поговорим, кто тут зелёный.

И мы пошли вниз, в густеющие сумерки, два человека с одной дорогой на двоих — до тридцатого яруса, а дальше я старался не заглядывать. Потому что дальше начиналась математика, которую я боялся считать.

* * *

Глава 6. Сборы

К тридцатому ярусу мы готовились три недели — так, как я не готовился ещё ни к одному спуску.

Раньше я спускался, как дышал: проснулся, проверил клинок, пошёл вниз. Но раньше со мной не было плана маркиза, славы, которую нельзя уронить, и напарника, которого месяц назад собирали по кускам. Да и сам тридцатый был не «ещё одним ярусом». О нём говорили — все, кто хоть раз стоял у монумента. Золотая черта. Ярус, за которым кончается серебро.

И о нём было известно то, от чего у бывалых искателей делались особенные лица.

— Небесный ярус, — сказал Рейнар, когда мы втроём засели над картами в маркизовой библиотеке. Он уже ходил — сперва по дому, потом по саду, потом, стиснув зубы, начал бегать, и с каждым днём в нём прибавлялось прежнего. — Так его зовут те, кто брал. Я в Академии слышал про него от наставников... — он осёкся на слове, но договорил ровно, — от тех, кто дошёл. Там нет ни пещер, ни леса. Там небо. Под землёй — небо, представь себе. Пропасть без дна, туман, что светится вместо солнца, и острова. Летающие острова, Адам. Камни размером с квартал, что висят в пустоте, как пух на ветру, — и не падают.

— Так не бывает, — сказал я. Сказал — и сам усмехнулся: человек, что умер на Земле и говорит с бывшим пустозвоном под тремя десятками ярусов камня, рассуждает, чего не бывает.

— В Колодце — бывает, — пожал плечами Рейнар. — Тридцатый затем и ставят золотой чертой: он не про то, силен ты или нет. Он про то, умеешь ли ты драться там, где сама земля из-под ног ушла. В прямом смысле.

— А хозяин? — спросила Кассия. Она сидела с ногами в кресле, по обыкновению крутя в пальцах метательный нож.

Рейнар помолчал.

— Про хозяина рассказывают так, — сказал он, — что я до недавнего времени считал это байками. Змей. Небесный змей — длинный, как обоз, белый с голубым, без единого крыла, а летает так, будто воздух — его вода. Грива по хребту, усы, как у сома, рога оленя. Красивый, говорят, до одури — те, кто выжил, первым делом говорят «красивый», а уж потом всё остальное. — Он посмотрел на меня. — А остальное такое: он владеет тем небом целиком. Ветер — его. Гроза — его. Ты стоишь на своём островке, а он ходит вокруг кругами по воздуху и решает, когда тебя с этого островка сдуть. Золотые, что его брали, теряли в среднем каждого третьего. Это, к слову, лучший счёт по нижним ярусам.

В библиотеке стало тихо. Кассия перестала крутить нож.

— Каждого третьего, — повторил я. — Нас трое.

— Вот и я о том же посчитал, — кивнул Рейнар без улыбки.

* * *

План мы собирали неделю, разложив его, как я привык, на части.

Задача первая: не падать. Острова, ветер, пустота без дна — значит, верёвки, крючья, обвязки; значит, каждый шаг у края — со страховкой; значит, отрабатывать до одури связки и хваты. Этим занялась Кассия — она, как выяснилось, лазала по скалам с детства и гоняла нас с Рейнаром по стене маркизова сада, как сержант новобранцев, отпуская комментарии, от которых краснела прислуга.

Задача вторая: достать того, кто летает. И вот тут вся наша сила упиралась в простую арифметику: мой клинок бьёт на длину руки, клинки Кассии — тоже. Пока змей в воздухе, из нас троих дотягивается до него один.

— Ну наконец-то, — сказал Рейнар, когда я озвучил это вслух. — Наконец-то в этой компании оценят стрелка. А то всё «мечи, мечи»...

Лук у него был хороший — гильдейский, композитный, серебряного разбора. Но про шкуру небесного змея рассказывали, что обычные стрелы она держит, как кольчуга держит горох. Значит, нужны были не обычные.

Значит, дорога вела к Хальгриму.

* * *

Кузнец встретил нас, как встречал всё на свете, — молча, взглядом поверх горна. На мне он задержался чуть дольше положенного: слухи про «ночь ста огней» доползали, видно, и сюда, а Хальгрим был не из тех, кто верит песням, — он был из тех, кто складывает два и два.

— Живой, — сказал он вместо приветствия. И этим исчерпал тему.

Я выложил на верстак заказ: наконечники для стрел. Три десятка. Адамантовые.

Хальгрим посмотрел на меня так, будто я попросил выковать луну.

— Адамант на стрелы, — проговорил он. — Которые летят в пропасть без дна. Ты хоть понимаешь, что просишь? Это как гвозди из золота ковать и забивать их в море.

— Понимаю, — сказал я. — Плачу как за золотые. Вернее, платит маркиз Эрвейн — и просил передать, что не покусится.

— Дело не в цене. — Кузнец взял с верстака обрезок тёмно-синего металла, повертел. — Адаманта мало. Он капризный. На него уходит жар втрое и время вчетверо... — Он покосился на Рейнара, на его лук за плечом, потом снова на меня. И что-то в его лице сдвинулось. — Тридцатый берёте.

Это не был вопрос, и я не стал отвечать.

— Змея валить, — сказал Хальгрим сам себе, кивнул каким-то своим мыслям и отложил обрезок. — Тогда слушайте оба, что я скажу, и не спорьте. Наконечники сделаю — двадцать штук, больше адаманта не дам, запас у меня не бездонный. Но узкие, гранёные, бронебойные — под чешую, а не под мясо. Бить такими надо не куда попало, а в стыки: под челюсть, в горло, под лапу, куда чешуя внахлест не легла. — Он ткнул пальцем в Рейнара. — Промахнёшься — адамант улетит в пропасть, а я тебя потом сам туда же отправлю. Понял меня, стрелок?

— Понял, — сказал Рейнар, и по лицу его было видно: этот разговор нравится ему больше всех разговоров за последний месяц.

Уже на пороге Хальгрим окликнул меня — одного.

— Клинок как? — спросил он, глядя мимо, в горн.

— Лучше, чем я заслуживаю.

— Это правильно, — сказал кузнец. И, помолчав: — Тот металл, из которого он кован, любит сильную руку. Но не любит жадную. Помни про это там, внизу.

Я унёс эти слова с собой и потом, ночами, поворачивал их так и эдак — слишком уж похоже это было на то, о чём Хальгрим знать не мог.

* * *

А по ночам я делал то, о чём не знал никто. Даже Кассия. Даже Рейнар.

Я спускался в дальний конец маркизова сада, туда, где старые деревья глушили звук и свет, садился на землю, закрывал глаза — и осторожно, как подходят к спящему зверю, трогал то, что жило теперь за сломанным засовом.

Оно отзывалось.

Не так, как усиление — послушный поток, что идёт, куда пошлешь, в руку, в ногу, в клинок. Это было другое. Огромное, медленное, холодное — и живое. Когда я тянулся к нему, оно поворачивалось ко мне всей своей толщей, как поворачивается в глубине к упавшей крошке большая рыба, и от этого движения у меня перехватывало дыхание и стучало в висках. Я черпал из него по капле — крошечной, осторожной капле — и смотрел, что она умеет.

Капля умела страшное.

От одной такой капли, пущенной в ноги, я однажды пересёк сад быстрее собственного удивления — и потом четверть часа стоял, держась за дерево, пока мир прекращал плыть. От

другой, пущенной в зрение, ночь на мгновение стала прозрачной, как день, — я видел жилки на листьях в ста шагах, — а потом сутки маялся резью в глазах. Это была сила не моего размера. Как если бы ребёнку дали ключи от оружейной башни: до рычагов дотягиваешься, а что будет, если дёрнуть, — лучше не проверять.

И ещё я понял одно, самое важное: у этой силы была цена, и цена та же, что тогда, в лаборатории. Она черпала из меня. Каждая капля отзывалась усталостью, несоразмерной результату, — а что будет, если зачерпнуть горстью, я уже знал. Девять дней темноты. Или больше. Или совсем.

Поэтому на тридцатый я решил её не брать. Идти на своём — на теле, на клинке, на голове. А то, за засовом, оставить тем, чем оно было: последним доводом. На самый чёрный час.

Я поднимался из сада перед рассветом, смывал с себя ночную росу и ложился, и засыпал под крики первых чаек. И в одну из таких ночей, засыпая, поймал простую и странную мысль: впервые за всё время в этом мире я готовился к спуску не один. У меня была команда, кузнец, что ворчит на мой металл, дом, где меня ждали к завтраку, и женщина, что гоняла меня по стене сада и смеялась, когда я срывался.

Мысль была тёплая. И именно поэтому я велел себе её выбросить.

Не выбросил, конечно.

* * *

Глава 7. Небо под землёй

Сколько бы мне ни рассказывали про тридцатый ярус, к нему нельзя было подготовиться. Я понял это в первое же мгновение — когда шагнул из тёмного спускового хода и мир кончился.

Именно так: кончился. Камень под ногами пробежал ещё десяток шагов и обрывался — не стеной, не склоном, а краем. А дальше было небо.

Небо — под тридцатью ярусами земли.

Я стоял на краю и смотрел, и весь мой аналитический аппарат, вся привычка немедленно раскладывать любое зрелище на устройство и причины — молчали. Свода не было. Вверху, там, где ему полагалось быть, плыл светящийся туман — слоистый, жемчужный, он лился ровным светом без солнца, как светится небо в белую ночь. Внизу свода не было тоже: пропасть уходила в глубину, синяя, густая, и где-то там, невообразимо далеко, тонула в облачной мгле. Ни дна. Ни стен. Только воздух — колоссальный, немислимый объём воздуха, заключённый в толще земли, которая не могла, не имела права вместить в себя такое.

И в этом воздухе висели острова.

Десятки. Сотни. Ближний — в полёте стрелы от нас: глыба камня размером с рыночную площадь, поросшая поверху зелёной шапкой травы и кривыми сосенками, с бородой корней и обломанных скал понизу. За ним — ещё и ещё, выше и ниже, крупнее и мельче: одни с дом, другие с целый квартал, а вдали, в жемчужной дымке, угадывался остров-исполин, к которому, как я почему-то сразу понял, нам и предстояло идти. Острова не стояли на месте — они дрейфовали, медленно, величаво, как льдины в тихой воде, и от их движения весь этот невозможный мир жил и дышал.

С доброй половины островов падала вода.

Ручьи, что рождались где-то в каменных их сердцах, сбегали по зелени и срывались с краёв — и падали в пропасть длинными серебряными нитями, распадаясь по пути в водяную пыль, так и не долетая ни до какого низа. А туман внизу, наглотавшись этой пыли, поднимался обратно, к светящемуся своду, и где-то там снова проливался на острова моросью. Мир-водо-ворот, замкнутый сам на себя, самодостаточный, как игрушка в стеклянном шаре.

— Закрой рот, герой, — сказала Кассия рядом. Голос у неё был не насмешливый — тихий. Она видела это впервые, как и я. — Муха залетит.

— Тут нет мух.

— Тут есть кое-что похуже, — сказал Рейнар. Он единственный из нас смотрел не на красоту — он смотрел на небо взглядом стрелка, обшаривая слоистый туман. — И оно нас уже видело, будьте уверены. Тут всё, что летает, видит всё, что ходит. Пошли, нечего стоять на виду.

* * *

Дорога через ярус была — цепи.

Тяжёлые, кованые, переброшенные с острова на остров и вбитые в камень исполинскими якорями, они висели над пропастью, сколько существовали сами острова. Металл их не брала ржавчина, звенья были литые, без единого шва, в руку толщиной, и самые старые искатели, по словам Рейнара, спорили об одном: кто вообще мог выковать такое — и зачем. Как будто кто-то, кто строил этот ярус, заранее проложил через него дорогу. Для тех, кто придёт.

Мне от этой мысли сделалось не по себе — и я отложил её в дальний ящик, к прочим вопросам без ответов, которых в Колодце копилось всё больше.

Никаких мостков, перил, настилов — ничего людского на этих переправах не было. Только голая цепь над голой пропастью, и иди по ней как знаешь. Мы шли в обвязках, при-

стёгнутые к звеньям скользящими петлями, как учила Кассия, — и я быстро понял, что все её издевательства на стене маркизова сада были не муштрой, а милосердием.

Первый же переход я запомню навсегда.

Цепь ныряла от нашего берега вниз, к соседнему острову, длинной провисающей дугой над пропастью. Ветер — здесь всегда был ветер, он ходил меж островов, как хозяин по своему двору, — раскачивал её, и вся переправа гудела низким, утробным звуком. Я шёл боком по звеньям, как по канату, перехватываясь руками за ту же цепь, глядя строго перед собой, а подо мной, под подошвами, было полверсты пустоты и облака.

— Не смотри вниз! — крикнула Кассия спереди.

Я, разумеется, посмотрел.

Внизу, глубоко-глубоко, между слоями сизого тумана, медленно проплыла тень. Длинная. Очень длинная. Она прошла и растворилась в облаках, и я так и не понял, что видел, — но пальцы мои на цепи побелели сами собой.

— Я сказала: не смотри! — Кассия даже не обернулась. — Все вы одинаковые.

На тот берег я вышел с сухим горлом. Рейнар, перебравшийся следом, был бледен ровно настолько же, и мы с ним, не сговариваясь, решили считать, что этого не заметили оба.

* * *

Твари пришли на третьем острове.

Мы услышали их раньше, чем увидели: тонкий, режущий свист, будто кто-то раскручивал над головой сотню пращей. Рейнар среагировал первым — «Воздух! В камни!» — и мы вжались в скальный гребень за миг до того, как первая стая прошла над островом.

Их было десятка четыре. Плоские, серо-серебристые, размером с большую собаку — что-то среднее между скатом и стрижом: широкие жёсткие крылья-плавники, ни глаз, ни морды, только узкая пасть-щель поперёк тела, усаженная иглами. «Анализ» выхватил ближнюю:

Небесный жнец. 61 уровень. Особое: пикирование.

Шестьдесят первый — не бог весть что поодиночке. Но их было сорок, и они умели то, чего не умели мы: падать. Стая набирала высоту, складывалась — и рушилась вниз, на остров, серебряным градом, со свистом, от которого стыла кровь; у самой земли жнецы распахивали крылья, проносились в пяди от камня и взмывали снова, и каждый заход оставлял на скалах белые борозды от игл.

Драка вышла злая и невыгодная. Мечи против пикировщиков — занятие почти безнадежное: пока жнец падает, он быстрее стрелы, а на развороте до него не дотянуться. Мы огрызались из-за камней, Кассия металась между укрытиями, стягивая стаю на себя, я рубил тех, кто просаживался слишком низко, — но счёт шёл не в нашу пользу: у меня было вспорото плечо, у Рейнара иглой рассекло скулу.

А потом Рейнар сделал то, ради чего мы его взяли.

Он перестал прятаться. Вышел на открытое — намеренно, приманкой, — вскинул лук и стал бить стаю не на пикировании, а на взлёте: в ту долю мгновения, когда жнец, распахнув крылья у земли, замирает перед подъёмом. Обычными стрелами — адамантовые он берёт, и правильно делал. Первая. Вторая. Пятая. Он стрелял, как дышат, — спокойно, в ритме, не глядя на тех, что падали на него сверху, потому что верил: их снимем мы. И мы снимали. Я взял на клинок двоих у самой его спины; Кассия достала ножами трёх.

На пятнадцатой стреле стая сломалась. Уцелевшие жнецы взмыли, собрались в серебряный клин и ушли в туман — стаи умеют считать не хуже людей.

— Вот так, — сказал Рейнар в наступившей тишине, опуская лук. Руки у него мелко дрожали — но голос был ровный, и в нём звучало то, чего я не слышал у него со времён лаборатории: он снова был Светлым Клинком, вторым мечом выпуска, а не мальчиком, которого резали на стуле. — И пусть кто-нибудь ещё раз скажет при мне «мечи, мечи».

— Неплохо, — признала Кассия, вытирая ножи. — Для человека, который месяц назад падал с лестницы.

— Я не падал. Я проверял перила.

Я слушал их перепалку, перевязывая плечо, и ловил себя на том, что улыбаюсь. Мы шли по самому страшному ярусу верхней тридцатки, у нас текла кровь, впереди ждал хозяин, что убивал каждого третьего, — а мне было... хорошо. Со своими — хорошо. И где-то под этим «хорошо», как холодный камешек в сапоге, лежала всегдашняя мысль: не привыкай.

Я к ней уже привык. К мысли. Вот в чём была беда.

* * *

Его мы увидели на исходе дневного перехода — когда добрались до последнего малого острова, за которым лежал только провал жемчужного воздуха и, в полуверсте, тот самый остров-исполин: гора в милю длиной, с лесом, с озером, блестящим, как монета, с целой страной наверху.

— Логово там, — тихо сказал Рейнар. — По всем рассказам — там.

И тут Кассия молча взяла меня за запястье. Сильно. И указала подбородком — вверх и влево.

Из слоистого светящегося тумана, в полном, оглушительном беззвучии, выходил змей.

Он был белый — белый, как первый снег, с переливами голубого по хребту, и длинный, невозможно длинный: тело его всё выходило и выходило из туманного слоя, кольцо за кольцом, гибкое, как лента в воде, и не было ему конца. Ни крыльев. Ни перепонки. Он плыл в воздухе так, как плывёт по глубокой воде большая рыба, — неспешным, мощным, волновым движением всего тела, и воздух держал его, будто иначе и быть не могло. По хребту, от рога-той головы до самого хвоста, бежала грива — белая с голубым, она струилась и стелилась за ним, как пена за кораблём. Длинные усы плыли у морды двумя лентами. Оленьи рога отливали льдом.

Он был красив.

Так красив, что все мы трое — люди, пришедшие его убить, — стояли и смотрели, задрав головы, и никто не потянулся ни к луку, ни к клинку. Выжившие говорили правду: сначала — «красивый». Всё остальное — потом.

Змей прошёл высоко над нами, не удостоив взглядом, — величаво, по-хозяйски, как обходит свои владения тот, кому некого здесь бояться, — обогнул остров-исполин, скользнул вдоль водопада, разбив гривой водяную пыль в радугу, и ушёл, нырнув, в нижние облака. Беззвучно, как и появился.

Я навёл «Анализ» ему вслед — на пределе, почти наугад.

Владыка неба. 82 уровень. Хозяин яруса. Особое: гроза.

Восемьдесят два. На восемь выше Владыки чащи, что едва не разобрал нас троих в лесу. И «гроза» — короткое слово, в котором мне мерещилось всё худшее разом.

— Ну что, — сказала Кассия негромко. Голос у неё сел. — Красивый, да?

— Очень, — сказал я честно.

— Вот и запомните его таким, — сказал Рейнар. Он уже снял с плеча лук и теперь перебирал в колчане стрелы с тёмно-синими гранёными жалами. — Потому что завтра он будет выглядеть иначе. Завтра он будет выглядеть как гроза.

Мы разбили лагерь под скальным навесом, без огня, и я долго лежал без сна, слушая, как гудят под ветром цепи переправ и как далеко-далеко, в нижних облаках, ворочается что-то огромное.

Завтра, подумал я. Завтра — золото.

Или каждый третий.

* * *

Глава 8. Гроза

К острову-исполину вела одна-единственная цепь — такая же, как все здешние: литая, без шва, в руку толщиной. Только длиннее прочих. Полверсты провисающей дуги над пропастью без дна.

Мы вышли на рассвете — если рассветом можно звать час, когда жемчужный туман наверху разгорается из серого в белое. План был прост, как всё, что придумывается перед смертельным делом: перейти цепь затемно, пока хозяин ходит нижними облаками; закрепиться на острове, найти позицию — скалы, лес, укрытия для стрелка; принять бой на своей земле, а не на его небе.

Мы прошли треть переправы, когда его небо пришло к нам само.

Первой это почувствовала Кассия — она шла впереди и вдруг замерла, вскинув руку. Я замер тоже. И услышал: тишину. Ветер, что с первого шага по ярусу гудел в ушах, ходил меж островов, раскачивал цепи, — стих. Весь. Разом. Воздух стал плотным и неподвижным, как вода в омуте, и в этой неподвижности светящийся туман над нами начал гаснуть — не тускнеть, а именно гаснуть, наливаясь сизым, потом свинцовым, потом грозовым чёрным.

— Он знает, — сказал Рейнар сзади. Голос у него был ровный и страшный. — Он нас ждал.

И из почерневшего неба, из самой гущи наливающихся туч, вниз посмотрел Владыка.

Он не напал сразу. Он висел там, в вышине, белый на чёрном — кольца тела медленно перетекали одно в другое, грива струилась, — и смотрел на нас, троих человек на нитке над бездной, так, как смотрят на забредших во двор куриц. А потом разинул рогатую голову к небу — и небо ответило.

Гром ударил такой, что цепь загудела под руками. И началась гроза.

* * *

Дальше всё было очень быстро и очень плохо.

Ветер вернулся — но уже не хозяйской походкой, а зверем, спущенным с привязи. Он ударил поперёк переправы, тугой, ревуший, и цепь пошла ходить под нами исполинскими волнами. Хлестнул дождь — сплошной, ледяной, стеной; звенья сделались скользкими, как рыба чешуя. Мир сжался до полосы серой воды, в которой были только цепь, спины товарищей и белые вспышки, от которых воздух пах калёным железом.

— Вперёд! — проревел я сквозь рёв. — Не назад — вперёд! До острова ближе!

Мы поползли. Уже не шли — ползли, обхватив цепь руками и ногами, повиснув под ней, как гусеницы, и петли обвязок визжали по мокрому металлу. Владыка ходил над нами широкими кругами, не снисходя до удара, — за него работала гроза. Молния грянула в цепь где-то позади, у покинутого острова, и по звеньям сквозь воду и металл прокатилась судорога, от которой у меня на миг отнялись руки. Если бы не петля — я бы уже летел.

А потом он понял, что мы доползём. И перестал играть.

Он упал с неба беззвучно — белая молния среди настоящих, — прошёл под переправой, в сажени под нами, так, что меня обдало ветром и запахом озона и снега, — и на проходе, небрежно, как рвут гнилую бечёвку, взял нашу цепь в зубы.

Хруст я не услышал — почувствовал. Всем телом. Цепь, которую не брала ржавчина и не мог выковать никто из людей, лопнула, как соломина.

И мы полетели.

Не вниз — маятником. Обрубленная переправа, удерживаемая якорем на стороне исполина, рухнула гигантской дугой к его каменному боку, и мы, пристёгнутые, полетели вместе с ней — сквозь дождь, сквозь рёв, полверсты свистящего ледяного полёта, — и стена острова вынеслась нам навстречу.

— Ноги!!! — успела крикнуть Кассия.

Мы ударились о скалу — ногами, как учили, все её издевательства на стене сада уместились в этот один удар, — и повисли на цепи, оглушённые, избитые, живые. Над нами, саженях в двадцати, был край острова. Под нами не было ничего.

— Наверх, — прохрипел я. — Наверх, пока он разворачивается!

Мы лезли по мокрым звеньям так, как не лезли никогда в жизни. Владыка шёл на второй заход — я слышал, как поёт рассекаемый им воздух, — и Рейнар, висевший последним, сделал невозможное: развернулся на цепи, упёрся, вскинул лук и выпустил первую адамантовую стрелу навстречу белой смерти.

Он не попал в стык. Он попал в чешую — и стрела, которой полагалось отскочить, вошла на палец и застряла. Владыка взревел — впервые подал голос, и от этого голоса дрогнул дождь, — и свернул с захода, унося в боку тёмно-синее жало.

— Больно?! — заорал ему вслед Рейнар, безумный, мокрый, счастливый. — То ли ещё будет!

Мы перевалились через край острова и рухнули в мокрую траву.

* * *

Остров-исполин встретил нас лесом — настоящим, старым, сосновым, — и мы вжались в него, как вжимаются в спасение. Здесь, под кронами, ветер терял силу, а Владыке негде было развернуть кольца. Мы отдышались, перетянули ссадины, пересчитали стрелы. Девятнадцать адамантовых. Одна — в боку у хозяина.

— Он теперь знает, что мы кусаемся, — сказал Рейнар. — Это плохо. Умный зверь после такого дерётся издали.

— Значит, сделаем так, чтобы издали не вышло, — сказал я. План складывался на ходу, из того, что было: лес, скалы над лесом, озеро в котловине, гроза. — Ему нужна цель на открытом. Дадим ему цель.

— Дай угадаю, — сказала Кассия. — Цель — это ты.

— Цель — это я.

Она посмотрела на меня долгим взглядом, в котором было всё, что она думала об этом плане и обо мне, — и молча принялась перетягивать ремни.

Расстановка вышла такой: я выхожу на открытый лоб скалы над лесом — приманкой, наглой, заметной; Рейнар садится ниже, в камнях, с луком и семью стрелами наготове — бить в стыки, когда Владыка пойдёт на меня и раскроется; Кассия — на верёвке под кромкой скалы, там, где никакой зверь не станет искать человека, — её выход последний, самый короткий и самый страшный.

Я вышел под грозу, на голый камень, поднял клинок над головой — и заорал в чёрное небо всё, что я думал о его хозяине.

Владыка пришёл на третьем выкрике.

* * *

Он падал на меня из туч, как копьё, — и всё же я увидел этот удар. Мир привычно загустел, усиление разлилось по жилам, и я ушёл с линии за полмгновения до того, как рогатая голова врезалась в камень, где я стоял. Скала треснула. Меня швырнуло воздушной волной, я прокатился, встал — и полоснул клинком по уходящему белому боку. Адамант вспорол чешую, как парусину. Первая кровь — светлая, почти серебряная — брызнула на камень.

И началось.

Он был быстр — быстрее всего, с чем я дрался. Он бил из воздуха: заход — удар — свечой вверх, и каждый заход нёс что-то новое. Хвост, рассёкший скалу там, где я был вздохом раньше. Ветер, сбивший меня с ног и протаскивший к самому краю. Молнию — он призывал их движением рогов, и они били в камень вокруг меня, слепя и глуша, и одна прошла так близко, что рука онемела до плеча.

Я держался. Уворачивался, резал, когда доставал, орал и дразнил, когда не доставал, — и делал главное: держал его глаза на себе.

А Рейнар работал.

Стрела — под челюсть: мимо стыка, но Владыка дёрнулся. Стрела — в горло на развороте: вошла. Рёв. Стрела — под переднюю лапу, в подмышку, где чешуя внахлест не легла: вошла глубоко, по оперение. Владыка крутанулся в воздухе всем телом, потерял захват, и я, дотянувшись в прыжке, развалил ему клинком нижнюю губу.

Теперь он был не красив. Теперь он был страшен: окровавленная белая лента в чёрном небе, ревущая, бьющая молниями уже не прицельно — яростно. Гроза сорвалась вместе с ним: дождь встал стеной, камень плыл под ногами.

И он сделал то, что делает всякий умный зверь, когда добыча оказывается зубастой: решил кончить всё одним ударом. Набрал высоту — выше туч, пропал из глаз, — и обрушился весь, всей верстой тела, всей своей грозой, не на меня.

На Рейнара.

Он вычислил стрелка. Я понял это на удар сердца раньше, чем увидел, — по тому, как повернулись в падении рога, — и заорал, срывая горло:

— Рейна-а-ар!!!

Тот успел. Наполовину. Бросил лук, прыгнул из камней — и лапа, что должна была размазать его, лишь зацепила, швырнув сквозь кусты тряпичной куклой. Владыка загасил падение у самой земли, распахнулся над камнями, где только что сидел стрелок, — низко, ниже некуда, впервые за весь бой в досягаемости —

и Кассия вышла из-под кромки скалы ему навстречу.

Она прыгнула с верёвки — вверх и вперёд, безумный, невозможный прыжок над пропастью — и упала ему на шею, за рогатую голову, вцепившись в гриву. И оба её клинка вошли по рукояти туда, куда не доставала ни одна стрела: в затылочный стык, под самый череп.

Владыка взвился. Свечой, в чёрное небо, с женщиной на загривке.

Сердце у меня остановилось. Вот теперь — по-настоящему. Он уходил вверх, в тучи, крутясь, хлеща телом, как бичом, и она держалась там, на гриве, над пропастью без дна, и я ничего — ничего — не мог сделать снизу.

Кроме одного.

— БЕЙ! — заорал я Рейнару, который, шатаясь, уже стоял среди поломанных кустов с луком в руках. — Горло! Он раскрыт!

Владыка, выгнувшись в петле, запрокинул голову — сбросить, стряхнуть, достать зубами то, что вгрызлось в затылок, — и на один удар сердца развернул к нам исподнее горла, белое, мягкое, между двумя пластинами.

Рейнар выстрелил.

Я не знаю, чего стоил ему этот выстрел — после удара, что швырнул его сквозь кусты, сорванным дыханием, в стену дождя, по цели, что вертелась в полусотне саженей над головой. Знаю одно: стрела с тёмно-синим жалом вошла туда, куда он её послал. В горло. По самое оперение.

Владыка неба умер в полёте.

Рёв оборвался. Кольца, вязавшие небо в узлы, распустились. И вся его верста — белая, окровавленная, вдруг снова, в смерти, ставшая красивой — начала падать, медленно и страшно, как падает подрубленная мачта. Кассия оттолкнулась от гривы на излёте, у самых крон, — сгруппировалась, рухнула в сосны, ломая ветки.

А Владыка упал на свой остров — туда, где лес расступался к озеру, — и остров вздрогнул до основания.

Мы добежали до Кассии одновременно — я и хромающий Рейнар. Она сидела в буре-ломе, ободранная, в хвое и чужой серебряной крови, и смотрела на нас снизу вверх шалыми, звенящими глазами.

— Ну что, — сказала она и рассмеялась — хрипло, взхлёб, как смеются те, кто только что должен был умереть. — Кто тут теперь зелёный, герой?

* * *

Он рассыпался долго.

Мы стояли у озера втроём и смотрели, как уходит Владыка неба: огромное тело истаивало, как истаивают все дети Колодца, — обращалось в золотую пыль, и пыль эту подхватывал стихающий ветер и нёс над водой, над лесом, над краем острова — в светлеющее небо. Гроза уходила вместе с хозяином. Туман наверху разгорался обратно в жемчуг. А золото всё летело и летело — верста золота, — и это было, наверное, самое красивое и самое печальное, что я видел в обоих своих мирах.

— Жалко, — сказала вдруг Кассия тихо. — Дура я, да? Он нас убить хотел. А жалко.

— Не дура, — сказал я.

Там, где он упал, осталась искра. Она лежала в примятой траве и светила — большая, с два кулака, бело-голубая, и внутри неё, если наклониться, ходили медленные грозовые сполохи.

Я поднял её. Она была тяжёлой и тёплой и чуть слышно гудела в ладонях — как далёкая, уже нестрашная гроза.

— Тридцатый, — сказал Рейнар. Он стоял, кривясь и держась за бок, но глаза у него сияли. — Мы взяли тридцатый. Слышите, вы? Золото.

Золото, подумал я, глядя, как последняя золотая пыль тает над озером. Ещё одна ступень. Ещё один шаг по лестнице, у которой я не знаю числа ступеней, — вниз, к голосу, к двери, к дому.

Я устал. Всё болело. Рядом смеялись двое людей, за каждого из которых я сегодня умирал по разу.

И я поймал себя на том, что не хочу никуда с этого острова.

Вот с этого всё и начинается, подумал я. Именно с этого.

* * *

Глава 9. Перед троном

Наверх мы поднялись на пятый день — избитые, ободранные, пропахшие грозой и хвоей, с искрой Владыки неба в моей сумке. У монумента дежурный писарь Гильдии глянул на наши карточки, потом на нас, потом снова на карточки — и уронил перо.

К вечеру о нас знал весь город.

Я не понимал до конца, что такое «взять тридцатый», пока не увидел это в чужих глазах. В Гильдии, куда мы явились наутро оформлять разряд, работа остановилась: писари бросили свои книги, искатели — свои кружки, и все смотрели, как седой магистр-распорядитель выкладывает на стол три золотые пластины. Не бляхи — пластины: тяжёлые, гербовые, с выбитым номером. Моя была четырёста девятая. За всю историю Гильдии — четырёста девятая.

— Распишитесь, — сказал магистр и добавил, понизив голос, совсем не по-казённому: — Быстрее вас, господа, тридцатый не брал никто. Два месяца от серебра до золота. Об этом будут рассказывать в Академии.

Рейнар, расписываясь, сиял так, что от него можно было прикуривать. Кассия черкнула своё имя, не глядя. А я смотрел на золотую пластину и думал, что маркиз получил свою легенду — точно в срок, точно по плану, как заказывал.

На улице нас ждала толпа. Не толпа даже — так, сгусток любопытства: мальчишки, зеваки, пара писак из листков, что кормятся слухами. «Это они? Те самые? Которые змея?..» Рейнар немедленно приосанился и стал раздавать кивки направо и налево, как заправский герой. Кассия надвинула капюшон. Я последовал её примеру.

— Привыкай, герой, — сказала она из-под капюшона негромко. В голосе не было обычной насмешки. — Дальше будет хуже.

Тогда я не понял, о чём она. Понял позже.

* * *

Маркиз ждал нас к ужину, и по одному тому, как был накрыт стол, я понял: что-то произошло.

— Аудиенция, — сказал Эрвейн, когда прислуга вышла. Он не скрывал удовольствия — так довольный своей партией игрок выкладывает козырь. — Его величество желает видеть покорителей тридцатого яруса. Лично. Через восемь дней, в малом тронном зале — что, к слову, честь особая: малый зал для тех, с кем король намерен говорить, а не для тех, на кого намерен смотреть. — Он поднял бокал. — Всё идёт даже быстрее, чем я рассчитывал. За золото, господа. И за то, что за ним последует.

— А что за ним последует? — спросил я.

— Увидите, — сказал маркиз с самым невыносимым из своих выражений — выражением человека, который знает больше вашего и наслаждается этим. — Скажу одно: я говорил, что сделаю вас неприкасаемым. Считайте, что через восемь дней будет заложен первый камень.

Рейнар за столом ликовал в полный голос — король! сам! лично! — и строил планы, как явится на аудиенцию при полном параде и что скажут в Академии те, кто звал его пустозвоном. Я слушал его вполуха.

Я смотрел на Кассию.

Она сидела над нетронутой тарелкой и молчала. Не своим обычным молчанием — колким, заряженным, из которого в любой миг может вылететь шпилька, — а глухим, ушедшим в себя. Услышав про малый тронный зал, она на мгновение прикрыла глаза — как человек, получивший весть, которую давно ждал и на которую до последнего надеялся не дожидаться. Маркиз, я заметил, старательно на неё не смотрел. Настолько старательно, что это само по себе было взглядом.

— Кассия, — окликнул я. — Ты чего?

— Ничего. — Она очнулась, натянула усмешку — на этот раз шов был виден. — Устала. Змей, знаешь ли, из меня душу вытряс. Пойду лягу.

И ушла, не доев, — она, которая после каждого спуска ела за троих и последней вставала из-за стола.

Я посмотрел ей вслед. Потом на маркиза. Маркиз разглядывал вино в бокале с видом человека, внезапно и глубоко заинтересовавшегося виноделием.

— Что-то, чего мне не говорят, — сказал я.

— Мастер Адам, — отозвался Эрвейн ровно, — в этом городе всегда есть что-то, чего вам не говорят. Через восемь дней станет одной тайной меньше. Потерпите.

* * *

Восемь дней меня готовили ко двору, и я честно скажу: тридцатый ярус дался мне легче.

Оказалось, что явиться к королю — это наука, и наука злобная. Как кланяться при входе (глубоко, но не подобострастно), как — при обращении к тебе (короче, с прямой спиной), когда преклонять колено (при пожаловании — и не вставать, пока не велено). Как стоять (не по-солдатски и не вольно). Куда девать руки (никуда; руки должны быть «просто спокойны» — попробуйте как-нибудь). Что отвечать («да, ваше величество», «нет, ваше величество», «как будет угодно вашему величеству») и чего не отвечать никогда (всего остального, пока не спросят). Не поворачиваться спиной. Не смотреть в упор. Не молчать слишком долго. Не говорить слишком длинно.

Учил меня сухонький старичок-церемониймейстер, присланный маркизом, — существо бесполое, безвозрастное и безжалостное, как налоговый кодекс. Я запоминал быстро — память аналитика, — но раздражался ещё быстрее.

— Поймите, любезный, — не выдержал я на третий день, — я убил змея длиной в версту. Неужели его величество расстроит, если я поклонюсь на ладонь ниже положенного?

— Змея, господин искатель, вы убивали по своим правилам, — отвечал старичок, не моргнув. — Здесь вы будете жить по чужим. Спина прямее. Ещё раз.

И я кланялся. Ещё раз. И ещё. Вечерами Рейнар — единственный из нас, кому всё это было родным, дворянскому-то сынку, — гонял меня по титулованию и порядку следования, забраковал весь мой гардероб («в этом, Адам, ходят на похороны, причём свои») и лично свозил к портному, где из меня три часа делали «человека, на которого не стыдно смотреть трону». Человек в зеркале был мне незнаком. Тёмно-синее с серебром, строгое, дорогое. Рейнар обошёл меня кругом и вынес вердикт:

— Сойдёт. Будешь стоять молча — вообще за своего примут.

— А если заговорю?

— А если заговоришь — говори коротко. У тебя, когда ты говоришь коротко, вид, будто ты знаешь что-то, чего не знают все остальные. Знати это нравится. Она сама всю жизнь так делает.

Кассию за эти восемь дней я почти не видел. Она появлялась к завтраку — бледная, собранная, вежливая, чужая, — и исчезала. Один раз я застал её в саду: она стояла у пруда и смотрела в воду, и по тому, как были сведены её плечи, я понял, что подходить не надо. Я не подошёл. Ушёл — и до вечера злился на себя, не зная за что.

Что-то надвигалось на неё вместе с этой аудиенцией. Что-то, о чём знал маркиз и не знал я. Я перебрал с десяток объяснений — от долгов перед короной до старой вражды, — и все они не сходились с одним: с тем, каким взглядом она смотрела в воду. Так не смотрят навстречу опасности. Так смотрят навстречу неизбежности.

Аналитик во мне требовал данных. Всё остальное во мне хотело просто подойти и спросить: что с тобой, и что я могу сделать. Я не сделал ни того ни другого. В некоторых вещах я трус похуже новобранца.

* * *

Утром восьмого дня к крыльцу подали карету с маркизовым гербом. Мы погрузились: Эрвейн — спокойный, как перед обычной поездкой; Рейнар — сияющий, при параде, надутый так, что слезились глаза; я — в тёмно-синем с серебром, с чужим человеком в оконном отражении; и Кассия.

Она вышла последней. И я не сразу её узнал.

Ни брони, ни дорожного платья. Тёмное, глухое, очень простое и очень дорогое платье — из тех, чья простота стоит дороже любой вышивки. Волосы убраны строго, по-придворному. Ни ножей, ни колкостей, ни усмешки — лицо закрыто, как на осаду. Она села напротив меня, расправила складки и стала смотреть в окно.

— Ты красивая, — сказал я. Потому что это была правда, и потому что молчание в этой карете можно было резать ножом.

— Знаю, — сказала она окну.

Карета тронулась. Город поплыл мимо — вверх, к дворцовому холму, где над крышами вставали белые башни с золотыми шпилями. Рейнар что-то говорил — про залы, про этикет, про то, кому из нас куда становиться. Маркиз изредка кивал. Я смотрел на Кассию, на её отражение в оконном стекле поверх плывущего города — и отражение смотрело не на дворец впереди.

Оно смотрело так, как смотрят на дом, из которого когда-то сбежали.

Белые башни вырастали с каждой минутой. И с каждой минутой мне всё яснее было: сегодня в малом тронном зале произойдёт что-то, к чему церемониймейстер меня не готовил.

* * *

Глава 10. Аудиенция

Дворец начался задолго до дворца.

Сначала — кованые ворота с грифонами и первый пост гвардии, где нашу карету встретили по имени. Потом — парк: старые липы, прямые, как копейный строй, аллеи, белый гравий, на котором колёса зашуршали вкрадчиво и почтительно. Потом сам дворец — белокаменный, с золотыми шпильями, которые я столько раз видел снизу, из города, и которые вблизи оказались не украшением, а заявлением: мы можем себе позволить крыть золотом крыши. Живите с этим.

Нас вели анфиладами — зеркала, наборный паркет, портреты людей с одинаково властными подбородками, — и с каждой залой людей вокруг становилось меньше, а тишина глубже. Церемониймейстер — мой, тот самый, сухонький — материализовался из какой-то боковой двери и пошёл рядом, вполголоса отсчитывая последние наставления, как секундант перед дуэлью. У высоких белых дверей с королевским гербом он оглядел меня в последний раз — от сапог до ворота, — вздохнул с видом скульптора, сдающего заказ раньше срока, и кивнул гвардейцам.

Двери отворились.

Малый тронный зал оказался действительно малым — по дворцовым меркам: с хороший трактир, не больше. Никакой толпы придворных, никаких труб и герольдов. Свет из высоких окон, тёмное дерево, старые знамёна по стенам — и в дальнем конце, на невысоком возвышении, простое тёмное кресло с высокой спинкой.

В кресле сидел король.

Я не знал, чего ждал. Наверное, чего-то среднего между портретами из анфилады и словом «величество» — мантии, короны, тяжести. Вместо этого в кресле сидел крепкий, широкий в кости человек лет шестидесяти, седой, коротко стриженный, в тёмном без единого камня, — и смотрел на нас, как смотрит старый полковой командир на пополнение: быстро, цепко, всё разом. Корона — простой золотой обруч — лежала на подлокотнике. Как вещь. Как шляпа, которую сняли за ненадобностью.

По правую руку от возвышения стоял маркиз Эрвейн. По левую — никого. Двое гвардейцев у дверей да писарь за конторкой в углу — вот и весь двор.

Мы прошли положенные двадцать шагов и поклонились — каждый по чину: Рейнар безупречно, я, надеюсь, сносно, Кассия... Кассия присела в реверансе, глубоком и ровном, как по учебнику, и я краем глаза заметил, что смотрит она при этом в пол. Только в пол.

— Ну наконец-то, — сказал король.

Голос у него был под стать рукам — тяжёлый, спокойный, привыкший, что его слышат с первого раза. Он поднялся с кресла — легко для своих лет — и сошёл с возвышения к нам. Церемониймейстер в моей голове тихо застонал: по всем его наставлениям король не должен был никуда сходить.

— Дайте-ка я на вас посмотрю. — Он остановился напротив, сцепив руки за спиной, и посмотрел. На Рейнара. На меня — дольше. — Значит, вот вы какие. Люди, что сняли с неба Владыку грозы. Я в молодости стоял на тридцатом, — сказал он вдруг буднично, — с отрядом в одиннадцать клинков. Мы тогда потеряли четверых и ушли, не приняв боя. Я до сих пор считаю то решение верным. А вы взяли его втроём. — Он покачал головой. — Либо мир измельчал и змей уже не тот, либо... — взгляд его остановился на мне, — либо не тот кто-то из вас.

Я промолчал. Говори коротко, учил Рейнар. Молчи — ещё короче.

— Молчит, — отметил король с удовольствием, ни к кому не обращаясь. — Эрвейн, он всегда молчит?

— Только когда ему есть что сказать, ваше величество, — отозвался маркиз.

— Знаю я таких. Самые опасные люди в королевстве. — Король усмехнулся в седые усы и вернулся на возвышение. Сел. И разом, без перехода, сделался другим — не проще и не теплее, а строже: государь. — К делу.

* * *

Дальше было то, ради чего пишутся церемониалы.

Писарь в углу поднялся и зачитал — гулко, торжественно — о деянии, совершённом во славу короны и Гильдии: о тридцатом ярусе, о Владыке неба, о доблести. Потом король говорил — коротко, без красивостей, и оттого весомо: что Колодец — становой хребет королевства, что люди, раздвигающие его пределы, стоят дороже золота, которым их награждают, и что корона умеет помнить.

Потом были награды.

Рейнару — офицерский патент королевской гвардии, с правом ношения бело-золотых цветов королевского дома и — король сделал паузу и, кажется, позволил себе усмешку — «с уведомлением Академии Искателей, что их второй меч выпуска отныне числится первым по короне».

Про цвета мне успел вдолбить церемониймейстер: у каждого знатного дома они свои, и в них одето всё, что дому принадлежит, — знамёна, ливреи слуг, плащи дружины. Белое с золотом — цвета самого королевского дома, и права носить их не покупают ни за какие деньги: их жалуют. Надевший эти цвета всякому встречному без слов говорит: я человек короля. Тронешь меня — тронешь корону. Для третьего сына барона, которого восемь лет звали пустозвоном, это была не награда. Это был ответ.

Рейнар преклонил колено и встал таким счастливым, что на него было больно смотреть: мальчик получил ответ на все восемь лет разом.

Кассии — король помолчал — «о награде для третьего покорителя тридцатого будет объявлено особо». Кассия присела в реверансе. В пол она смотреть не перестала. Я почувствовал, как между этими двумя — троном и женщиной в тёмном платье — натянулась струна, которой не было ни в одном церемониале, и как маркиз рядом с возвышением стоит неподвижнее, чем положено стоять даже маркизам.

— Мастер Адам, — сказал король.

Я вышел на шаг и преклонил колено, как учили: правое, спина прямая, глаза на уровень руки государя.

— Гильдия дала вам золото, и это по праву её, — сказал король сверху. — Но Гильдия меряет людей ярусами, а я меряю иначе. Мне доносят о вас разное, мастер Адам. Что вы пришли с фронта пешком и без гроша. Что вы в одиночку положили орду под стенами умирающего городка. Что вы растёте так, как не растут люди, и молчите так, как не молчат простолюдины. — Пауза. — А ещё мне доносят, что земля, с которой вы пришли, как была ничьей, так и стоит. Лен на самой кромке Предела — его не брал никто и никогда: охотников держать рубеж, за которым воет Дикий Предел, в моём королевстве отчего-то не находится. Земля со времён моего деда числится за короной — что на бумаге звучит внушительно, а на деле значит: ни хозяина, ни защиты, ни спроса. Земля без хозяина на самом краю Предела — это рана, мастер Адам. А раны, как вы знаете лучше многих, следует закрывать.

Я слушал — и уже понимал, к чему идёт, и не верил, что понимаю правильно.

— Властью короны, — сказал король, и голос его набрал ту медленную, чеканную тяжесть, от которой у писаря в углу зазвенело перо, — жалую вас, Адам, баронским достоинством и вручаю вам в лен город Грейфолл с окрестными землями, водами и угодьями, от Старого тракта до кромки Дикого Предела, со всеми правами, доходами и обязанностями, кои надлежат баронам сего королевства. Держите эту землю, стерегите этот рубеж и отвечайте за эту границу — перед людьми и перед нами. Встаньте, барон Грейфолл.

Я встал.

Наверное, надо было что-то чувствовать — триумф, гордость, хоть что-то из того, что полагается чувствовать человеку, за два года прошедшему от нищего чужака до барона. Я не чувствовал ничего из этого. В ушах у меня стояло одно слово, и это было не «барон».

Грейфолл.

Стена, на которой я стоял. Ров, заваленный тварями. Холм за городом и ряд могил на нём — и двадцатая, крайняя, под старой сосной. Кузня Хальгримова брата. Дом Бренны. Дорога, по которой я уходил на север, не оглядываясь, потому что оглянуться было выше сил.

Мне только что подарили мои могилы. И назвали это леном.

Совпадение? Земля, «случайно» оставшаяся без хозяина, — та самая, единственная на всё королевство, где каждый камень знает меня в лицо? Я поднял глаза на короля. Король смотрел на меня — спокойно, внимательно, и в глубине этого спокойствия было ровно то же выражение, что у маркиза за ужином: выражение игрока, который сделал ход и смотрит, понял ли противник партию.

Он знал. Не «доносят разное» — он знал обо мне много и точно, и земли эти были выбраны не циркулем по карте. Зачем — вот это оставалось вопросом. И что-то мне подсказывало, что ответ я получу не при писаре.

— Благодарю, ваше величество, — сказал я. Коротко. Как учили.

— Не благодарите, — сказал король, и в его голосе мне послышалась усмешка. — Вы ещё не видели, во что превратился ваш лен. Благодарить будете, если через пять лет там будет что-то, кроме бурьяна и волков. — Он откинулся в кресле. — Бумаги подготовят к завтрашнему дню. Эрвейн введёт вас в права и в курс дел. Аудиенция окончена, господа. Корона довольна вами.

Мы поклонились — теперь уже все трое, по чину, на прощание. Писарь посыпал песком свои свитки. Гвардейцы у дверей взялись за створки. Рейнар, сияя, уже сделал первый шаг назад, к выходу, как предписывал церемониал.

И тут король, глядя поверх наших голов куда-то в среднее расстояние, произнёс — негромко, буднично, тоном человека, вспомнившего о последнем мелком деле на сегодня:

— Ну что, дочь моя. Тебе, как всегда, не сидится, я посмотрю.

* * *

Глава 11. За закрытыми дверями

— Ну что, дочь моя. Тебе, как всегда, не сидится, я посмотрю.

Слова упали в тишину малого зала — буднично, между делом, — и несколько мгновений я честно пытался понять их как-нибудь иначе. Оборот речи. Обращение старика к молодой женщине. Церковное что-нибудь — «дочь моя», так жрецы говорят прихожанкам.

Потом я посмотрел на Кассию — и все запасные объяснения умерли разом.

Она стояла очень прямо, глядя перед собой, — и была белой. Не бледной — белой, как её платье было тёмным. Руки, сложенные по этикету, сжались так, что костяшки проступили сквозь кожу. Она не удивилась. Вот что было главным, вот что кричало громче любых слов: она не удивилась. Она ждала этого — все восемь дней, всю дорогу в карете, весь этот год, может быть, — ждала и надеялась, что пронесёт.

Не пронесло.

— Ваше величество, — сказала она ровно. Голос не дрогнул. Только был это не её голос — без единой живой ноты, гладкий и холодный, как дворцовый паркет.

Рядом со мной издал слабый звук Рейнар. Я не рискнул повернуть голову, но краем глаза увидел — и в первое мгновение не поверил тому, что вижу. Рейнар не был ошарашен. Он выдохнул. Так выдыхает человек, с плеч которого сняли мешок, что он тащил не первую версту: с ужасом пополам, с облегчением. Он знал. Он знал — и, значит, та сцена у монумента, «впервые видимся, совершенно», его деревянная спина и бегающие глаза, — всё это было не смущением перед красивой женщиной. Это был человек, который силился не выдать королевскую тайну — и чуть не выдал её мне в первое же утро.

Одной загадкой меньше, отметил кто-то холодный и аналитический у меня в голове. Остальному во мне было не до загадок.

Король поднялся с кресла. Сошёл с возвышения — второй раз за аудиенцию, и церемониймейстер в моей голове уже не стонал, он молчал, как молчат над покойником, — и остановился напротив Кассии. Близко. Так близко, как встают не государи перед подданными, а отцы перед дочерьми.

Я смотрел на них — и не понимал, как не видел раньше. Не черты даже — черты у неё были материнские, наверное: тонкие, резкие. Но разворот плеч. Упрямый подбородок. Манера смотреть чуть исподлобья, когда несогласна, — а несогласна она была всегда. Сейчас, друг напротив друга, они были отражениями: старый гранит и молодой, но порода — одна.

— Два года, — сказал король негромко. Для нас — но говорил он только ей. — Два года, Кассия. Ни строки. Я узнаю о тебе из докладов, как о чужом лазутчике: жива, здорова, лезет в самое пекло. Кракен на двадцать седьмом. Владыка чащи. Теперь вот — гроза небесная. — Он помолчал. — Ты всё-таки решила довести дело до конца. Уморить меня.

— Как я погляжу, ваше величество в добром здравии, — ответила Кассия паркетным своим голосом. — Доклады не врут.

— Доклады, — повторил король. Что-то дрогнуло у него в лице — усталое, старое, совсем не королевское. — Я получаю доклады о собственной дочери. Знаешь, Эрвейн, — сказал он, не оборачиваясь к маркизу, — что самое скверное в моём ремесле? К нему привыкаешь.

Маркиз счёл за благо не отвечать.

Король ещё мгновение смотрел на Кассию — она выдерживала этот взгляд, вздёрнув подбородок, вся упрямство и оборона, — и вдруг сказал просто, без всякой чеканки:

— Оставьте нас. Все.

* * *

Нас с Рейнаром вынесло из зала, как щепки отливом. Маркиз вышел следом — неспешно, с достоинством человека, для которого в происходящем нет ничего нового. Двери затворились.

Мы остались в приёмной — белой, зеркальной, с гвардейцами по углам, каменными настолько, что было ясно: эти двое не слышали ничего, не видели ничего и готовы присягнуть в этом на чём угодно.

Рейнар добрёл до простенка между зеркалами и тихо, аккуратно приложился к нему затылком.

— Ты знал, — сказал я. Не спрашивая.

— Знал, — глухо согласился он, глядя в потолок. — Адам, я... — Он сморщился, как от зубной боли. — Я видел её один раз, ещё мальчишкой, в Академии. Её привозили... неважно. Такие лица не забывают. И когда ты в то утро привёл её к монументу и сказал «это Кассия, она идёт с нами», я чуть тетику не проглотил. А она... она успела шепнуть мне два слова, пока ты не подошёл. «Молчи. Веди себя обычно». — Он издал короткий несчастный смешок. — Обычно! Я неделю спускался в Колодец с... — он покосился на маркиза и проглотил слово, — с ней — и должен был вести себя обычно. Я тебе врал в лицо, Адам. «Впервые видимся, совершенно». Ты уж прости. Но тут либо врать тебе, либо... такие тайны, знаешь, не мои, чтобы ими делиться.

— Знаю, — сказал я. — У самого такие же.

Он посмотрел на меня, хотел что-то спросить — и не спросил. Умнел мальчик на глазах.

— Тише, оба, — сказал маркиз, не поворачивая головы. Негромко сказал, но так, что мы заткнулись разом. — И запомните, молодой человек: слово, которое вы сейчас проглотили, в этих стенах не произносят. И за этими стенами тоже. Нигде не произносят. Усвойте это раньше, чем наденете бело-золотое: в цветах короны болтливость обходится дороже.

Я стоял и складывал. Наконец-то — все куски разом, всю картину, что месяцами лежала передо мной россыпью, а я не удосужился собрать.

Маркиз, приближённый к трону, что держит при себе искательницу без рода и племени — и обращается с ней, как с фамильным серебром. «Я знаю его величество дольше, чем вы живёте на свете». Кассия, что знает всех в столице, вхожа всюду, осведомлена, как тайная канцелярия, — и при этом живёт, как перекасти-поле, без дома, без родни, без прошлого. То утро у монумента и деревянный Рейнар со своим «впервые видимся, совершенно» — загадка, которую я тогда отложил на потом и которая только что разрешилась сама. Её молчание последних восьми дней. Реверанс — в пол, только в пол, чтобы не встретиться глазами. Отражение в каретном стекле, что смотрело на дворец, как на дом, из которого сбежала.

Сбежала. Вот оно, ключевое слово. Не «выросла вдаль», не «жила инкогнито» — сбежала. И «награда будет объявлена особо» — не награда вовсе, а разговор, который отец два года не мог добиться от дочери и наконец устроил единственным способом, какой у него оставался: приказом явиться на аудиенцию.

Меня, стало быть, использовали и тут. Тридцатый ярус, золото, легенда — всё это, помимо прочего, было ещё и приманкой, на которую выманили из тени беглую королевскую дочь. Я мысленно приподнял шляпу перед его величеством: партия была разыграна чисто. И перед маркизом. И задал себе вопрос, на который у меня не было ответа: сколько ещё слоёв в этом пироге, о которых я не знаю.

— Вы знали с самого начала, — сказал я маркизу. Не спрашивая.

— Я знаю её с пелёнок, — ровно ответил Эрвейн, глядя на затворённые двери. — Это всё, барон, что я имею сказать по этому поводу. Остальное — не моя история. Захочет — расскажет сама. — Он помолчал и добавил, тише: — А если расскажет — цените. Она этого не рассказывает никому.

* * *

Ждали мы долго. Час, может, больше — в приёмной время течёт по-дворцовому, вязко. Из-за высоких дверей не доносилось ни звука: ни голосов, ни шагов. О чём говорят отец-король

и дочь, что два года шлёт ему вместо писем доклады чужих соглядатаев, — я не представлял. Вернее, представлял слишком хорошо, и потому старался не представлять.

Когда двери наконец отворились, Кассия вышла одна.

Она шла через приёмную ровным шагом, глядя перед собой, — прямая, собранная, застёгнутая на все крючки, — и по её лицу нельзя было прочесть ничего. Совсем ничего. И именно это ничего было страшнее любых слёз: я видел её после боёв, после ран, после ночи, когда меня принесли полумёртвым, — и никогда не видел такой. Пустой, как выметенный дом.

— Едем, — сказала она, не останавливаясь.

В карете она села к окну и всю дорогу смотрела на проплывающий город. Рейнар, у которого хватило ума не раскрывать рта, изучал собственные сапоги. Маркиз изучал перчатки. Я смотрел на её отражение в стекле — на то самое отражение — и молчал, потому что из всех бесполезных вещей, которые я мог сейчас сделать, слова были самой бесполезной.

Уже у дома, когда карета остановилась и Рейнар с маркизом вышли, она вдруг сказала — тихо, не оборачиваясь от окна:

— Ты хочешь спросить.

— Хочу, — сказал я. — Но не буду.

— Почему?

— Потому что ты расскажешь сама. Когда решишь. А до тех пор это не моё дело.

Она наконец повернулась от окна. Посмотрела на меня — долго, внимательно, как будто заново пересчитывая что-то, что считала уже сосчитанным.

— Знаешь, что в тебе самое невыносимое, герой? — сказала она, и в голосе её, под всей усталостью, шевельнулось что-то живое. — Вот это вот. Именно это.

И вышла из кареты.

А я остался сидеть, барон Грейфолл, человек с золотой пластиной и чужими могилами в лене, — и думал о том, что за один сегодняшний день узнал о ней больше, чем за все месяцы рядом. И что не знаю по-прежнему ничего. Кто была её мать. Почему она сбежала. Что сказал ей отец за закрытыми дверями. И почему женщина, у которой есть дворец, корона на расстоянии протянутой руки и король в отцах, девять суток сидела на полу у кровати безродного чужака — и держала его за руку.

Впрочем, на последний вопрос ответ у меня, кажется, был.

Он-то меня и пугал.

* * *

Глава 12. Без свидетелей

За бумагами меня вызвали на следующий день к полудню.

Я ждал канцелярии: стол, писари, воск, печати, час скучных формальностей — и наружу, бароном при документах. Вместо этого молчаливый камергер провёл меня мимо канцелярии, мимо приёмных, вверх по узкой лестнице, которой не полагалось быть в парадной части дворца, — и отворил невысокую дубовую дверь без герба.

За дверью был кабинет. Небольшой, обшитый тёмным деревом, с картой королевства во всю стену, с заваленным бумагами столом — рабочая комната человека, который действительно работает, а не изображает. У окна стоял маркиз Эрвейн. А за столом, без короны, в расстёгнутом у ворота тёмном камзоле, сидел король — и что-то быстро писал, и не поднял головы, пока не дописал.

Ни писаря. Ни гвардии. Ни камергера — тот затворил дверь снаружи.

— Садитесь, барон, — сказал король, отодвигая бумагу. — Ваши патенты. — Он толкнул через стол кожаную папку. — Всё подписано и скреплено ещё утром. Как видите, для этого вы мне были не нужны.

Я взял папку, но открывать не стал.

— Значит, я здесь для другого.

— Эрвейн, — сказал король с удовольствием, — я начинаю понимать, за что ты его ценишь. Да, барон. Вы здесь для другого. Для разговора, которого не было. Ни сегодня, ни когда-либо. Здесь нет писаря — и это не небрежность, это суть. — Он откинулся в кресле и посмотрел на меня тяжело и прямо. — Я знаю, что вы сожгли в порту. И кого.

Я не дрогнул — к этому ходу я был готов со вчерашнего дня, с той минуты, как понял, что земли мне выбирали не циркулем.

— Ваша светлость докладывает добросовестно, — сказал я, глянув на маркиза.

— Моя светлость служит мне тридцать лет, — сказал король. — И последние десять из них мы с ним вдвоём ведём войну, о которой не знает моё собственное королевство. Войну, которую мы, к слову, проигрываем. — Он поднялся, прошёл к карте на стене. — Что вам рассказал Эрвейн про Орден, я знаю. Грибница. Ячейки, что не знают друг друга. Всё так. Теперь я расскажу то, чего он вам не рассказывал, потому что не имел права без меня. Слушайте и не перебивайте.

И я услышал.

* * *

— Я знаю про Орден двадцать лет, — говорил король, стоя у карты спиной ко мне. — Двадцать лет, барон. Я всходил на трон молодым и самоуверенным и полагал, что нет в королевстве силы, которую нельзя сломать королевской волей. Я ошибался. Первые десять лет я пробовал ломать. Хватал тех, на кого падала тень. Пытал. Казнил. Знаете, что я выяснил? Ничего. Ровным счётом ничего — каждый взятый знал три имени таких же слепых, как он сам, и ни нитки дальше. А потом мой канцлер — человек, которому я доверял корону и жизнь, — умер в одну ночь, здоровым, во сне, за три дня до того, как собирался подать мне какой-то доклад, которого я так и не увидел. И я понял две вещи. Первая: они — во дворце. Вторая: я не знаю, кто.

Он повернулся.

— Вы понимаете, что это значит — не знать, кто? Это значит: я не могу собрать совет, не гадая, кто из сидящих за столом перескажет его этой ночью своему хозяину. Не могу двинуть гвардию, не спрашивая себя, чьи в ней уши. Не могу объявить Орден вне закона — потому что нельзя объявить войну тени: они просто лягут глубже, а заодно я объявлю всему миру и всем соседям, что в моём доме двадцать лет живёт зараза, с которой я не в силах совладать.

Троны, барон, падали и от меньшего. — Он вернулся за стол. — Поэтому мы воюем так, как воюем. Тихо. Двое. Теперь — трое.

— Почему я? — спросил я. — Вы меня не знаете. Я чужак без прошлого, а вы только что перечислили, почему не доверяете даже собственному двору.

— Именно поэтому, — сказал король. — Вы чужак. Вы — единственный человек в этом королевстве, про которого я точно знаю, что он не Орден. Знаете откуда? Они вас выкрали, приковали к столу и собирались выпотрошить, а вы сожгли их со всем гнездом. Такое, — он усмехнулся без веселья, — не инсценируют. Ваша ночь в порту — лучшая верительная грамота, какую я видел за двадцать лет. Все прочие мои люди могут оказаться их людьми. Вы — не можете. Вы уже заплатили за это право кровью, своей и их.

Логика была безупречна. Холодная, королевская, но безупречна — я сам считал бы так же.

— Хорошо, — сказал я. — Теперь про землю. Вы дали мне Грейфолл не потому, что «рану надо закрыть». Вернее, не только поэтому.

Король и маркиз переглянулись — коротко, как люди, между которыми этот взгляд заменяет фразу «я же тебе говорил».

— Не только, — согласился король. — Смотрите сюда, барон. — Он ткнул пальцем в карту, в дальний её край, где за штриховкой фронта начиналась немая, неразмеченная ширь Дикого Предела. — Что вам известно о том, какие искры собирает Орден?

— Предельные, — сказал я. — Любые. И колодезные — только хозяйские, с боссов. Ваша светлость просветила.

— Верно. А теперь сложите. Колодезные искры добываются здесь, под столицей, под моим носом — тут им тесно и опасно, тут мы с Эрвейном давим их скупщиков, как только нащупаем. А предельные? — Палец короля обвёл фронт — длинную ломаную линию поселений вдоль кромки. — Предельные добываются вот тут. На краю мира, где нет ни моих глаз, ни гильдейского учёта, ни одного человека короны на сто вёрст. Где каждый городок сам себе закон, каждый скупщик пишет в книгах что хочет, а искатель, вынесший искру из дыры, продаёт её тому, кто больше даст, и не спрашивает имени. Двадцать лет Орден черпает силу Предела — вот отсюда, с фронта, вёдрами, — а я двадцать лет не могу даже увидеть, как он это делает. У меня нет там никого. Ни единого человека.

Он посмотрел на меня.

— Теперь есть.

* * *

Вот оно. Всё сошлось — до последней мелочи, как сходится у хороших игроков: и «случайно» пустовавший лен, и «рана на границе», и скорость, с которой готовили бумаги.

— Барон Грейфолл, — сказал король, и теперь он не рассказывал — ставил задачу. — Хозяин фронтального лена, восстанавливающий родной город. Никому не подозрительный: куда же ещё ехать человеку, как не домой. Вы будете строить — стены, дороги, торговлю. Настоящие. Чем громче стройка, тем лучше: за стуком топоров не слышно тихих вопросов. А тихие вопросы вы будете задавать. Кто скупает искры вдоль кромки. Какими дорогами они уходят. Кто платит выше гильдейской цены и не торгуется. Где у этой реки исток. — Он помолчал. — Я не жду от вас чуда, барон. Орден копал свои норы двадцать лет — за год вы их не вскроете. Мне не нужен штурм. Мне нужна нить. Одна настоящая нить с фронта — та, которую они не ждут, потому что двадцать лет привыкли, что там их никто не ищет.

— А когда нить найдётся?

— Тогда мы с вами поговорим ещё раз. Без свидетелей. — Король побарабанил пальцами по столу. — Сноситься будете через Эрвейна и только через него. Ко мне — никаких писем, никаких гонцов: письмо к королю от фронтального барона — это событие, а события замечают.

У Эрвейна свои каналы, проверенные. Для всего мира вы — его человек, он вас открыл, он вам покровительствует. Это правда, и это удобная правда: за ней не видно второй.

Я сидел и раскладывал услышанное — привычно, по полкам. Задача была ясная, логика чистая, прикрытие безупречное. Строить — по-настоящему. Искать — тихо. Найти нить и не дёргать. Всё это ложилось на мои собственные планы так ладно, что было бы подозрительно, не понимай я: это не совпадение, это чужой расчёт. Меня в очередной раз двигали по доске — и в очередной раз туда, куда я и сам хотел идти. Умелые в этом королевстве игроки. Все до одного.

— Я согласен, — сказал я. — С одним условием.

Король поднял бровь. Похоже, слово «условие» в этом кабинете звучало нечасто.

— Мои люди — мои, — сказал я. — Те, кого я беру с собой и кому доверяю, — не ваши глаза и не глаза его светлости. Я не поведу за собой людей, за которыми надзирают. Спрашивайте с меня — с них не спрашивайте.

Король посмотрел на Эрвейна. Эрвейн чуть заметно пожал плечами: я же говорил.

— Принято, — сказал король. — Что-нибудь ещё?

— Ещё вопрос. Почему вы уверены, что я не найду нить — и не потяну её сам? В порту я уже показал, как я умею ждать.

Впервые за весь разговор король улыбнулся по-настоящему — быстро, жёстко, одними углами губ.

— А я и не уверен, — сказал он. — Я на это в некотором роде рассчитываю. Человек, который сжёг их лабораторию за одну ночь, стоит трёх моих терпеливых стратегий. Просто в следующий раз, барон, — он подался вперёд, — постарайтесь, чтобы после пожара что-нибудь осталось. Мне. Пепел — это красиво, но читать по нему трудно.

* * *

Он поднялся — разговор был окончен. Я тоже встал, взял папку с патентами. У самой двери его голос догнал меня:

— И последнее, барон.

Я обернулся. Король стоял у окна, спиной, глядя вниз, во двор, — и голос его вдруг стал другим. Не королевским. Усталым.

— Моя дочь едет с вами. В Грейфолл. Она сказала мне это вчера — не спросила, заметьте, сказала. — Пауза. — Я не стану её удерживать: её никогда никто не мог удержать, в этом она вся в мать. Я прошу вас об одном. Берегите её. Она о таком не просит и попросить не позволит — поэтому прошу я.

Что-то надо было ответить. «Да, ваше величество» — было бы по этикету и было бы ложью умолчания: её не надо было беречь, она сама берегла меня девять суток. «Она справится сама» — было бы правдой и жестокостью.

— Она дважды спасала мне жизнь, ваше величество, — сказал я. — Долг за мной. Я его верну.

Король не обернулся. Только кивнул — отражению в оконном стекле.

— Ступайте, барон. Стройте свой город.

Я вышел из кабинета без герба на двери, с папкой под мышкой, с королевской войной в нагрузку к собственной — и с одним лишним знанием, которое весило больше всех патентов: Кассия едет со мной.

Она сказала ему. Не спросила — сказала.

Я спускался по узкой лестнице и ловил себя на том, что улыбаюсь. Совершенно не к месту. Совершенно не ко времени.

Совершенно ничего не мог с этим поделать.

* * *

Глава 13. Ты не спросил

Она пришла ночью, за три дня до отъезда.

Я не спал — сидел у открытого окна своей комнаты в маркизовом доме, разложив на столе списки: люди, припасы, инструмент, всё, что барону надлежит везти в разорённый лен. Работа была честная и скучная, и я был ей благодарен: она занимала ту часть головы, которая иначе занималась бы вещами, о которых думать не следовало.

В дверь не постучали. Она просто открылась, и на пороге встала Кассия — босая, в простой рубаше до колен, с бутылкой тёмного стекла в одной руке и двумя кружками в другой.

— Не спишь, — констатировала она. — Хорошо. Ненавижу будить.

Она прошла мимо меня, села на подоконник — с ногами, спиной к ночному саду, — зубами вытащила пробку, разлила по кружкам что-то, пахнущее вишней и дымом, и одну кружку сунула мне.

— Пей.

— Что это?

— Моя храбрость, — сказала она. — Пей, говорю.

Я выпил. Она тоже — до дна, не поморщившись, — налила себе ещё, обхватила кружку обеими ладонями и какое-то время смотрела в неё, как в колодец.

— Ты не спросил, — сказала она наконец. — Три дня прошло. Любой другой на второй час начал бы: а как, а что, а почему, а расскажи. Рейнар вон ходит кругами, как кот у сметаны, аж скулы сводит — до того хочет спросить и боится. А ты молчишь. — Она подняла глаза. — Поэтому слушай. Раз в жизни расскажу сама, от начала и до конца, и больше к этому не возвращаемся. Перебьёшь — замолчу и уйду. Понял?

— Понял.

— Вот и умница. — Она глотнула ещё. И начала.

* * *

— Мою мать звали Лиара. Она была горничной во дворце — из простых, из-за реки, дед её рыбачил. Я её помню... — Кассия помолчала. — Я её помню лучше всех на свете. Она смеялась так, что оборачивалась улица. И упрямая была — говорят, я в неё, хотя по мне так я против неё овца.

Отец тогда был молодым королём. Только взошёл, двадцать три года, война на носу, совет из старых стервятников, каждый тянет в свою сторону. И вот среди всего этого — девчонка с бельевой корзиной, которая единственная во всём дворце не боялась ему дерзить. Знаешь, как они познакомились? Она выговорила ему в коридоре за то, что он ходит по мытому. Королю. За мытый пол. — Кассия усмехнулась в кружку. — Он потом говорил: в то утро он впервые за год слышал, как с ним разговаривает живой человек.

Дальше можешь сам догадаться. Любовь — настоящая, из тех, что раз в жизни и не у всех. Он хотел жениться. Всерьёз хотел, — она глянула на меня, будто ждала недоверия, — я знаю, что хотел, мне Эрвейн рассказывал, он тогда уже был при отце. Совет встал на дыбы: король женится на прачкиной дочке — соседи сожрут, знать взбунтуется, трон зашатается. Ему выкатили всё: долг, корону, кровь, войну, что стояла у порога. И он... — она повела плечом, — он был король раньше, чем человек. Его так вырастили. Он уступил.

Мать он не бросил — вот этого не было, что бы там ни шептали по углам. Купил ей дом за рекой, тихий, с садом. Приезжал — тайно, без свиты, раза два в месяц, чаще не мог. Там я и родилась. Там и выросла — до тринадцати лет. И знаешь что, герой? Это было счастливое детство. Самое настоящее. У меня была лучшая мать на свете и отец, который приезжал ночами, привозил мне ножи и учил метать их в старую грушу, пока мать ругалась, что из ребёнка растят

разбойника. Я до восьми лет не знала, кто он. Думала — купец. Богатый добрый купец, папа, который часто в отъезде. Мне хватало.

Она замолчала. Долго молчала. Я не перебивал — я помнил уговор, да и что тут было говорить.

— Мать сгорела за полгода, — сказала Кассия ровно, тем особенным ровным голосом, каким говорят давно отболевшее, что болит всё равно. — Лекари, чародеи, светила из академии — отец привозил всех, кого можно привезти, и все разводили руками. Есть хвори, которые не лечатся ничем: ни травами, ни чарами. Чары затягивают раны, ты знаешь. А тут раны не было. Она просто гасла — как искра, из которой выходит свет. В конце она уже меня не узнавала. Путала с собой молодой. Говорила мне: «Не отдавай меня во дворец, слышишь, там холодно». — Кассия усмехнулась криво. — Во дворец забрали меня.

* * *

— Отец сделал единственное, что мог, и худшее, что мог: забрал тринадцатилетнюю дикарку из дома с грушей — во дворец. О, всё по уму: официально я числилась «воспитанницей короны», сирота из хорошей семьи, его величество милосерден. Комнаты, наряды, учителя. Этикет — вот откуда мой реверанс, что ты видел, по учебнику: меня им мучили три года. Языки, танцы, геральдика. Дворец, Адам, — это очень красивая машина по перемалыванию людей в придворных. И меня перемалывали — со всем старанием.

Только вот беда: назвать меня дочерью он не мог. Бастард при живой памяти о матери-горничной — это скандал, это оружие для всех, кто точит нож на трон. Так что днём я была «воспитанницей», приседала в реверансах и молчала, когда положено. А вечерами отец приходил в мои комнаты — тайно, в собственном дворце тайно, понимаешь? — и мы играли в карты, и он был почти тем купцом из моего детства. Почти. Между нами уже стояла корона, и с каждым годом её было всё больше, а его — всё меньше.

Я продержалась четыре года. А потом услышала — случайно, из-за портьеры, дворец весь из портьер, — как двое из совета обсуждают, за кого меня выгоднее «пристроить». Не выдать замуж — пристроить. Незаконная дочь — это, оказывается, тоже фигура, если правильно разыграть: старому герцогу — знак милости, соседскому княжичу — намёк на родство с короной, без обязательств, но с ниточкой. Они раскладывали меня, как раскладывают вексель, Адам. Спорили о процентах.

В ту же ночь я собрала нож, плащ и материнскую цепочку — и ушла через кухню. Мне было семнадцать.

Она допила кружку. Налила ещё — рука не дрожала.

— Дальше просто. Академия Искателей меня, положим, не ждала — зато фронтир не спрашивает бумаг, а ножи я метала с шести лет, спасибо папе-купцу. Отец нашёл меня через два месяца — вернее, Эрвейн нашёл; он всегда меня находит, у него это вроде проклятия. Я ждала, что потащат назад силой. А отец... не потащил. Прислал через Эрвейна одно письмо, три слова: «Хотя бы живи». И я живу. Восемь лет живу, герой, — своей головой, своими ножами, своим именем. Вернее, без имени — но своим.

— А Эрвейн?

— А Эрвейн с тех пор — мой пастух, — она фыркнула. — Смотрит издали, доносит отцу, что овца жива, подкидывает работу, когда я на мели, и делает вид, что это всё случайно. Я делаю вид, что не замечаю. Такой у нас уговор длиной в восемь лет. Он хороший человек, наш маркиз. Худший шпион на свете — потому что любит тех, за кем шпионит.

* * *

— За закрытыми дверями, — сказал я. — Вчера. Он предлагал тебе вернуться?

— Он предлагал мне имя. — Кассия смотрела в окно, в тёмный сад. — Узаконение. Титул. «Награда за тридцатый ярус» — удобный повод, понимаешь? Героиню можно возвысить, не объясняя, чья она дочь. Он всё продумал, он всегда всё продумывает. — Она помол-

чала. — Я отказалась. Он не удивился. По-моему, он предлагал не потому, что надеялся, а потому, что не предложить не мог. Мы восемь лет играем в эту игру: он предлагает — я отказываюсь — он говорит «упряма, как мать» — и на этом до следующего раза.

— Почему отказалась?

Она повернулась ко мне. В темноте глаза у неё были совсем чёрные.

— Потому что имя — это поводок, Адам. Красивый, золотой, но поводок. Прими я титул — и я снова фигура на их доске: меня можно выдать, пристроить, разыграть. А так я — никто. Знаешь, сколько свободы в слове «никто»? — Она усмехнулась, и усмешка вышла усталой. — Правда, у «никто» есть цена. Помнишь, у источника, я тебе говорила: большинство идёт вниз, потому что наверху их никто не ждёт. Так вот, это была не совсем правда. Меня — ждут. Отец ждёт, восемь лет, каждый доклад Эрвейна. Просто между мной и им — трон, совет, портьеры и целое королевство. И я выбрала: пусть лучше меня ждут издали, чем разложат вблизи. — Она глотнула. — Из всех сирот, герой, самые смешные — те, у кого живы родители.

Я молчал. Под рубахой, у сердца, лежало тёплое кольцо, и я думал о том, как страшно рифмуются судьбы: женщина, у которой есть отец — и между ними трон. Мужчина, у которого есть семья — и между ними миры. Оба — «никто» в чужом городе. Оба выбрали идти вниз.

— Зачем ты мне это рассказала? — спросил я тихо.

Кассия долго не отвечала. Потом слезла с подоконника, подошла — близко, так, что я почувствовал вишнёвый дух от её кружки и тепло от её плеча, — и посмотрела на меня снизу вверх, без всякой усмешки.

— Затем, что ты не спросил, — сказала она просто. — Всю жизнь из меня либо тянут — кто такая, откуда, чья, — либо знают без спросу и молчат с этим знанием, как Эрвейн, как Рейнар, бедный, чуть не лопнул. А ты — не спросил. Сказал: расскажешь сама, когда решишь. — Она пожала плечами. — Вот я и решила. Ты первый человек за восемь лет, которому я это рассказала своим голосом. Цени, герой.

— Ценю, — сказал я. И это было чистой правдой.

Мы стояли слишком близко. Ночь была слишком тихой, вино — слишком тёплым, и её глаза были слишком близко от моих, и на одно длинное, опасное мгновение весь мой аналитический аппарат, вся моя арифметика цен и последствий — замолчали.

Она качнулась ко мне. Или мне показалось. Или я качнулся первым — не знаю, честно, не знаю до сих пор.

Тёплое кольцо шевельнулось у меня на груди — просто от движения, физика, ничего больше, — но мне хватило.

Я отступил на полшага. Одно крошечное полшага — и целую пропасть.

Кассия остановилась. Посмотрела на меня — долгим взглядом, в котором не было ни обиды, ни удивления, а было понимание, от которого стало только хуже, — и улыбнулась. Криво, знакомо, спасительно.

— Дом, — сказала она. Не спрашивая. — Всё ещё дом.

— Всё ещё дом, — сказал я.

— Что ж. — Она забрала со стола бутылку, отсалютовала мне ею и пошла к двери — босая, прямая, непобеждённая. У порога обернулась: — Знаешь, что самое смешное, герой? Упрямее меня в этом королевстве только один человек. И это, к несчастью, ты. — Дверь открылась. — Спокойной ночи, барон. Через три дня едем в твою глушь. Покажешь мне свою грушу.

— У меня не было груши.

— Значит, посадим, — сказала она и вышла.

А я остался сидеть над списками, в которых больше не понимал ни строчки, с тёплым кольцом на груди и вишнёвым духом в пустой комнате, и думал о том, что некоторые пропасти не становятся меньше от того, что ты не делаешь шага.

Они просто ждут.

* * *

Глава 14. Дорога

Из столицы мы выходили обозом в одиннадцать телег, и на то, чтобы просто выбраться за городские ворота, у нас ушло полдня.

Барон, как выяснилось, не может просто сесть в карету и поехать. Барон движется. За моей каретой — чёрной, лаковой, одолженной маркизом вместе с кучером, — тянулись телеги с инструментом и припасами: пилы, топоры, гвозди бочками, парусина, зерно, соль, лекарские припасы. За телегами — люди. Два десятка мастеровых, нанятых в столице на баронское золото: плотники, каменщик с двумя подмастерьями, кузнец — молодой, из учеников Хальгрима, сам Хальгрим, услышав, куда я собрался, только глянул поверх горна и сказал: «Возьми Тобба. Руки уже есть, дури ещё много — фронтир вылечит». Ехала повитуха, согласившаяся на переселение за двойное жалованье и подъёмные. Ехал молчаливый человек маркиза — счетовод, умевший, по словам Эрвейна, «считать так, что цифры не врут». И десяток охраны — наёмники с проверенными бумагами, которым платил я и только я.

Мои люди — мои. Это условие я выторговал у короля и намерен был держать.

Рейнар ехал верхом, в новеньком бело-золотом плаще, от которого его распирало так, что смотреть было больно и весело разом. Формально он был откомандирован «для сопровождения и охраны барона Грейфолла» — король умел упаковывать подарки в приказы. Кассия... Кассия первые полдня ехала в карете напротив меня, извелась, на первом же привале выторговала у охраны запасную лошадь и дальше ехала верхом, в своём потёртом дорожном, и была наконец похожа на себя.

Обоз шёл медленно. Верховой одолел бы этот путь за восемь дней, карета — за одиннадцать; обоз полз по тракту со скоростью гружёной телеги, и выходило все четырнадцать. Четырнадцать дней в одну сторону. Я записал эту цифру в свой внутренний гроссбух — пока просто записал, ещё не зная, что она станет одной из самых важных цифр этого года.

А дорога тем временем разматывалась назад.

* * *

Именно назад — вот что было странно. Год назад я шёл по этому тракту в другую сторону: пешком, с чужим мечом за спиной и грошами в кармане, из мёртвого Грейфолла в столицу, которую знал только по рассказам. Теперь тракт разматывался в обратном порядке, как лента, которую перематывают к началу, — и каждый день дорога подсовывала мне что-то из той, прежней жизни.

Постоялый двор, где я ночевал в общей зале на соломе, потому что койка стоила две меди, а у меня было полторы. Теперь хозяин выбежал к карете сам, кланялся и божился, что для его милости готовы лучшие комнаты. Я его не винил — и на солому не обижался: тогда она была честной.

Развилка у старого дуба, где я полдня просидел, пережидая ливень, и делил лепёшку с бродячим псом. Роща, где ночевал в холода, зарывшись в листья.

А на девятый день пути, под вечер, дорога вошла в холмы, и я узнал поляну.

Я велел встать лагерем раньше времени — благо место было удобное, ручей и трава для лошадей. Обоз занялся кострами. А я прошёл сотню шагов от тракта, на поляну между старых берёз, и остановился.

Здесь стояли телеги дорожных шакалов. Вон там горел их костёр. Там лежали часовые — те, что уже никогда не встали. А вот здесь, у крайней берёзы, лежала связанная женщина с пепельными волосами, и я, дурак, спешил, пилил верёвку и был страшно горд собой.

— Ностальгируешь? — раздалось за спиной.

Кассия стояла в трёх шагах, скрестив руки, и смотрела на ту же берёзу.

— Осматриваю поле битвы, — сказал я. — Самое опасное место на всём тракте. Меня здесь били.

— Тебя здесь били заслуженно, — уточнила она. — Ты развалил мне операцию, которую я готовила две недели. Дала себя связать, стерпела их лапы и их разговорчики, полдня тряслась в телеге мордой в сено — и всё для того, чтобы какой-то фронтирный герой с чужим мечом явился из кустов и всех перерезал. — Она покачала головой. — Я тебя чуть не убила тогда, знаешь?

— Знаю. Ты сообщила. Кулаками.

— Что здесь происходит? — К нам подошёл Рейнар — привлечённый, надо думать, тем безошибочным чутьём, каким он всегда находил разговоры, не предназначенные для его ушей. — Какие кулаки? Кого убивала?

Мы переглянулись.

— Ты не знаешь, как мы познакомились, — сообразил я.

— Я знаю, что вы старые знакомые ещё с тракта, — Рейнар перевёл взгляд с меня на неё. — А что?

И Кассия — с удовольствием, в лицах, с подробностями, которых я предпочёл бы не вспоминать, — рассказала. Как шла по следу шакалей пайки. Как дала себя взять, чтобы её свезли в логово. Как некий герой, не разобравшись, вырезал ночью весь конвой и разрезал на ней верёвки с самым спасительским видом. И как она, вместо благодарности, отвесила ему в плечо всё, что думала о самостоятельных спасителях.

Рейнар слушал, открыв рот. Потом посмотрел на меня с выражением глубокого, искреннего сострадания.

— То есть ты спас её из плена, — уточнил он, — а она тебя за это избила.

— Пыталась избить, — поправил я. — Бьёт она не очень.

— Что?! — взвилась Кассия.

— Он стоял, как столб, и смотрел на меня, как на говорящую белку, — пожаловалась она Рейнару. — Я ему чуть руку об плечо не отбила.

— И вы после этого пошли вместе.

— Она сказала, что раз я развалил ей дело, то теперь я её должник и обязан помочь брать логово, — сказал я. — Логика железная. Я до сих пор не нашёл в ней изъяна.

— И не найдёшь, — отрезала Кассия.

Рейнар переводил взгляд с меня на неё и обратно, и по лицу его расплзалась ухмылка — медленная, широкая, до ушей.

— Знаете, что я вам скажу, — начал он, — со стороны это выглядит, как...

— Договорись — пойдёшь отсюда до Грейфолла пешком, — светски пообещала Кассия.

Рейнар заткнулся. Но ухмылку не убрал. Ухмылка осталась с ним на весь вечер, и за ужином у костра он ещё дважды принимался беззвучно посмеиваться, глядя в огонь, и оба раза делал вид, что закашлялся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.